Стефан Жеромский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Публикуемые в настоящем томе избранные места из дневников Жеромского составлены по изданным в Польше в трех томах дневникам писателя. Жеромский вел дневник в молодости на протяжении ряда лет (1882–1891). Всего дневник насчитывал 21 тетрадь, 6 из которых не сохранились. Дважды дневник терялся – первый раз при жизни писателя в его родном городе Кельцы и второй раз во время войны: рукопись дневника была вывезена гитлеровцами из Национальной библиотеки в Варшаве, где хранилась после смерти писателя.

В дневнике, охватывающем почти десятилетие жизни писателя, отразилась напряженная, духовно насыщенная жизнь молодого Жеромского. Из всего многообъемного и чрезвычайно интересного по содержанию материала дневников в настоящей публикации представлены лишь некоторые записи, в которых, как правило, затронуты проблемы, наиболее сильно волновавшие Жеромского. Дневниковые записи поражают своим разнообразием: здесь и подробнейшая хроника повседневных событий, и отношение Жеромского к явлениям общественной жизни страны, мысли и чувства, вызванные горячим желанием найти свое место в освободительной борьбе народа, раздумья о задачах и общественной роли искусства, впечатления от прочитанных книг, посещений театров, музеев.

- Стефан Жеромский
  -
  - Комментарии
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58

- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102

- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110

Стефан Жеромский
Из дневников

14 октября 1882 г. Сегодня мне исполнилось восемнадцать лет! Восемнадцать лет я прожил на свете, а что хорошего успел сделать? Шиллер на восемнадцатом году жизни создал «Разбойников», а я? Написал ли я что-либо такое, что с полным правом можно было бы назвать литературным произведением? Боже мой, мне восемнадцать лет, – возраст, которому все завидуют, золотая пора, пора юности, смелых мечтаний. Чем же помянуть прошедшие годы? Ах, только бы память не хранила воспоминания о времени, потерянном напрасно, о печальном прошлом! Как же я счастлив среди людей, чьи помыслы не омрачены прозой жизни, чьи сердца так, же как и мое, рвутся к мечте, к счастью!

Сколько пережито за эти восемнадцать лет! Сначала согретое материнской заботой детство, потом – гимназия, смерть матери, знакомство с паном Бемом, увлечение поэзией и литературой, знакомство с Эдеком, Галиком[1] и т. д. Это – прошлое, а какое меня ждет будущее? Какое? Может быть – лавры, а может – одиночество, нищета, близкая могила? Ну что ж! Будь что будет – но с пути, предначертанного мне судьбой, я не сойду никогда.

29 февраля 1883 г. Во время урока французского языка я читал рассказ «Орсо», который понравился мне не так сильно, и «За хлебом».[2]

Я плакал и право не знаю, что со мной творилось! Сколько в нем чувства, поэзии, сколько жизненной правды, простоты, естественности! По-моему, это шедевр!

«За хлебом» – это целая поэма; она меня очаровала! Автор будто бы весело, даже с улыбкой повествует о своих героях, но в словах его чувствуются слезы, сквозит боль… Как же прекрасны нарисованные им сцены, идея и стиль – и все, все восхитительно. Под впечатлением этих произведений я написал третью главу моей «Тоски по родине».[3] Я был тронут и взволнован как никогда.

8 июля 1883 г. Снова сенокос. Я слушаю пенье крестьянок, которые ворошат сено, и начинаю все больше и больше понимать романтизм.

Как же могли не восторгаться романтизмом Берне, Моор, Клопшток, Мицкевич и другие? Ведь это истинная поэзия! Не

убранная в изысканные слова Горация и Буало, а чистая, светлая, простая, как муза Карпинского.[4] Удивительно, как рождаются иногда такие складные рифмы в сердце девушки, не знающей даже, что такое буква? Кто их заронил? Это вдохновение! Оно – в песне о возлюбленном Ясе, которая облегчает уставшей крестьянской девушке ее тяжелый труд. Давно, до школы, я часто спрашивал себя, откуда они знают столько стихов? И мне казалось, что эти песни сохранились со времен Яна Кохановского, [5] о котором я тогда уже кое-что слышал. И вот теперь я с волнением слушаю звуки нашей подлинно народной, национальной, романтической музы. Как велики они, эти корифеи романтизма, которые из-под слоя пыли извлекли бриллиант поэзии и удивили мир ее красотой! Да, это народ создал поэзию, а поэты вознесли ее на вершины идеала.

17 июля 1883 г. Читал «93-й год». Гюго и Иокаи[6] – мои любимые романисты. Они рисуют, а вернее, ваяют статуи героев на пьедестале добродетели, знания, самопожертвования, любви к родине и человечеству. Они – глашатаи прогресса. Сегодня днем пани Орлинская предложила мне место репетитора.[7] Итак, снова за работу! Будут присылать за мной лошадей. О вознаграждении еще ничего не знаю. По вечерам я мечтаю о своем «Стегенном»,[8] который один может воплотить мои республиканские идеалы. Скорей бы вернуться в Кельцы.

19 мая 1885 г. Вчера я читал книжку некоего М. Худзяка: «Пребывание их императорских величеств в Привислинском крае».[9] Эх! Попался бы мне в руки этот Худзяк!

Чтобы рассеять ослепившее меня бешенство, я начал читать «Историю преступления» Виктора Гюго. Как ничтожна должна быть страна, если она рождает таких Худзяков. Если бы я знал, что найдется еще сотня людей, осмеливающихся писать по-польски для того, чтобы распространять среди простого народа книги подобного содержания, – право, я бежал бы отсюда. Нет для меня книги более отвратительной. Прочитав ее до последней страницы, я почувствовал страшную тоску. Мысль о том, что это написано по-польски, преследовала меня, как гарпия. Читая Виктора Гюго, я воспрял духом. Худзяк меня истерзал, а он пролил бальзам на мои кровоточащие раны. Заснул я поздно. Я стал таким демократом, что на всех наших товарищеских пирушках провозглашаю только один тост – за демократию. Один Крижкевич поддерживает меня ото всей души. Остальные, хотя и пьют, но лишь для того, чтобы осушить рюмку. Я погряз в болоте утопии, и несмотря на это – иду все дальше в красной шапке на

голове! Аристократические суждения приводят меня в ярость. Я сполна, с процентами отвечаю на них злыми насмешками Венгерского.[10] Виктор Гюго, Конопницкая – вот наше знамя: мое, Бернарда, Вацека! Пусть другие идут за Красинским,[11] только подальше от нашего знамени! Янек слишком верит в умственную аристократию. Как знать, не назвал ли бы он вслед за учителем Семирадским человека из народа словом «скот», отлично выражающим аристократические устремления «ясных панов, магнатов, князей-прелатов…»[12]

20 июня 1885 г. До двух часов ночи читал «Мейера Езофовича» Ожешко. Восхитительная эта поэма замечательна еще и тем, что она бесконечно наивна и проста. Она чем-то напоминает песни Гомера. Мы видим почти первобытный еврейский народ, у нас перед глазами – калейдоскоп его наивных верований, и мы как бы присутствуем при том моменте, когда в его недрах начинает зарождаться другое, новое течение, властно захватывающее молодые умы. Как в греческих трагедиях, над судьбой прекрасного героя тяготеет тут неумолимая «мойра», выступающая в образе предрассудков, косных законов и патриархального уклада семьи. Одним словом, я вижу в этом романе великолепный и тенденциозный эпос. Тенденциозность нисколько ему не вредит – она чувствуется только иногда между строк…

Есть там сцены, какие не часто встретишь в иностранной литературе: так, Мейер и Голда в лесу, у окна хаты – это картина изумительно ясной, какой-то первобытной и неизъяснимо красивой любви. И если на первый взгляд роман может показаться скучным, то стоит только вслушаться в разговоры Мейера и Голды, в пение Элиезера, и нам откроется необыкновенно яркая, рукою мастера созданная красота. Простота и наивность, строгий объективизм и благородная тенденция – вот что делает этот роман крупной, прекрасной жемчужиной, которую славяне подарили Западной Европе.

Сегодня всю ночь буду читать произведения Писарева – русского вольнодумца. Опять заполню дневник записями, а 4-й том Брандеса[13] отложу до каникул.

Меня ждет жизнь в доме знатного магната нашей округи. Посмотрим на нее вблизи.

21 июня 1885 г. Всю ночь и целый день сегодня я читал критические, философские и политические статьи Писарева. *Для* них характерен всепроникающий живой демократизм,

позитивистские идеи в духе Конта и злая ирония. Небольшой философский очерк «Пчелы»[14] представляет собой превосходную иносказательную и порой язвительную сатиру на монархический строй. Великолепна проведенная им параллель: занимаясь как будто бы невинным описанием жизни пчел, автор мастерски, захватывающе и убедительно излагает свои демократические воззрения. От этой статейки веет теплотой внутреннего убеждения, она проникнута глубокой любовью к людям и не доктринерским, а горячим и искренним республиканским духом.

Другие же статьи, а именно рецензии и критические отзывы о произведениях его современников, полны едкой иронии и не всегда объективны. Видно, что этот демократ и вольнодумец, обрушиваясь на аристократов и правоверных, рубит иногда с плеча – так, что порой даже жалко становится несчастных авторов, попавших под его перо. Да, этот критик не чета нашему Тышинскому или Хмелевскому,[15] ему критика нужна не ради нее самой, а для раскрытия своих идей.

Произведения его не пропускает цензура; в России он пользуется славой «ужасного демократа», чего само по себе уже достаточно для зачисления его в «социалисты», хотя до сих пор я не заметил, чтобы он был социалистом. Ох, эта Россия! Лучшее, что есть в ее литературе, – проклято и гонимо.

21 июля 1885 г. Экскурсия не состоялась, потому что не приехали Рыбарские. Целый день мы были заняты выплатой денег работникам.[16] Боже мой, как беден этот народ! Заработает человек несколько злотых за целую неделю и еще должен часами с непокрытой головой ждать у господских ворот, должен молчать, когда барчук или управляющий сквернословят, оскорбляя его самые святые чувства и права.

Невеселая вещь эта серая сермяга…[17]

Порой я не могу молчать и держу речь трибуна.

29 июля 1885 г. В четыре часа дня мы поехали с паном Никласом[18] в Покшивянку – усадьбу, расположенную у подножия Свентокшижской горы в стороне от Слупи. Дорога шла по живописной местности: куда ни взглянешь, везде верстах в двух друг от друга усадьбы. Стоят они на холмах, утопая в зелени садов, разделенные между собой то оврагом, то пригорком, то рощицей, то рядом хат. Мы проехали Ломно, Тарчек, Свентомаж, Вавженчицы, Явор, Павлов и, наконец, чудесное имение Хибица. В

лесочке возле Покшивянки Никлас гонялся с двухстволкой за витютенями и сизеворонками. Это напомнило мне мою прежнюю охотничью страсть, теперь засыпанную пеплом жалости. Но вот и Покшивянка. Это – самый лакомый кусочек в имении пани Залевской. Хлеб в скирдах, хлеб в доверху набитых душных амбарах. Навстречу нам вышла прехорошенькая женщина, жена так называемого эконома. Никогда, пожалуй, еще не приводилось мне видеть крестьянку с таким красивым лицом. Владек кажется охотно навещает Покшивянку и… покровительствует тамошнему эконому или надсмотрщику. Похоже, что и Никлас окажет ему покровительство, да я бы и сам… Прости, господи!.. Что же тогда говорить о молодом барине!..

Из Покшивянки мы поехали в Подхелме по столь же непроходимой, сколь и живописной дороге. Нельзя было оторвать глаз от громоздящихся вокруг отвесных скал, среди которых вьется, исчезая, тропинка, от прекрасного Чонстковского пруда, надвое перегороженного громадной, густо обсаженной ольхами плотиной, от поросшей лесом горы возле Слупи, выделяющейся на фоне ровных просторов пшеницы. В Подхелме есть мельница; арендует ее еврей, любимец пана Залевского, пан Давид. Сейчас там проводятся большие ремонтные работы – строят новую мельницу, чистят и углубляют пруд и т. д.

Очисткой пруда руководит какой-то старик. Он почти час, стоя с непокрытой головой перед Никласом, выслушивал его распоряжения и, наконец, с каким-то странным, непередаваемым выражением попросил прибавить ему жалованье.

– Вельможный пан, – проговорил он, – дети у меня малые… – и тут же осекся, как-то странно искривив рот. Слезы навернулись у меня на глазах.

Я вот запахну сейчас теплое пальто, сяду в бричку, и резвые лошадки помчат меня туда, где мне будет тепло, весело, спокойно, я хорошо поужинаю, высплюсь… А он? Весь день он ворочал лопатой вонючую грязь, а вечером вернется к голодным детям. Вот разница между нами: я родился в той социальной среде, где люди обучены наукам и, бездельничая, живут за счет других людей, которые работают на нас и вместо нас терпят нужду. Эх, болит, болит сердце, как посмотришь на такого старика крестьянина, который снимает шапку с убеленной сединами головы и низко кланяется мне или Никласу! Да, ты действительно страдал и любил, ты видел несовершенство этого великого девятнадцатого века, у тебя было горячее сердце, великий Сен-Симон! В нашей стране представление о кастовых различиях развито еще очень сильно, оно в течение веков прививалось народу. Достаточно человеку быть одетому в сюртук,

и мужик, подозревая в нем шляхтича, снимает шапку. Меня охватывает бешенство – ведь это не дань вежливости (ей наш мужик будет учиться еще десятки, а может, и сотни лет), а выработанный столетиями унижений поклон подданного своему властелину – поклон раба, поклон илота! Мужик снимает шапку, видя, что едет «пан». Еще двадцать лет тому назад пели: «Долой все титулы, князей и графов!»[19] – и значило это то же, что республика… Далеко тебе до республики, страна моя! Пройдут века, прежде чем все дети нашей земли поймут, что они равны между собой, что не должно быть перворожденных и пасынков.

Из Подхелмя мы поехали в Слупь, а оттуда уже вечером – в Бодзентын. Недалеко от дороги, устремив чело в облака, нежится в лунном свете Свентокшижский монастырь. Эх, прошлое, прошлое!.. Звон доспехов, топот коней и боевые песни разносит эхо по дремучим лесам… Сосны и буки, качая могучими ветвями, шлют друг другу весть: король земли нашей идет бить врага далеко, далеко… к Грюнвальду… Проносятся века. И опять леса огласились эхом песен…

В твою амнистию мы завернем свои пули.[20]

Эх, прошлое!..
Сейчас на этой горе стоит тюрьма.

4 июля 1886 г. (Вечером.) Читаю сейчас «Современное обозрение»[21] (собственно говоря, не очень «современное» – от 70-го года). Для меня оно ценно тем, что в нем напечатана рецензия о творчестве Тургенева. Впервые мне попалась довольно развернутая статья о моем любимом писателе и, к счастью, в журнале, как мне кажется, прогрессивном. Автор статьи (Шелгунов[22]) – «западник». Можно было бы привести здесь много характерных мест, хотя специально о романах в статье и не говорится. Критик большое внимание уделяет «Запискам охотника», классифицирует образы тургеневских героев, особенно женские. О «Дыме», «Нови», «Стихотворениях в прозе», «Вешних водах» он ничего не пишет. Цельной картины творчества Тургенева я здесь еще не нашел.

Выписываю неподражаемую сцену из «Записок охотника».[23]

> Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие маленькие глаза и

торопливо, но осторожно, наподобие зайца (у бедняка не было ни одного зуба), жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода.

– Дедушка! а дедушка! – проговорил я.

Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза.

– Чего? – прошамшил он сиплым голосом.

– Где тут деревня близко?…

Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего.

– Деревня?… да тебе что надо?

– А вот от дождя укрыться.

– Чего?

– От дождя укрыться.

– Да!..

……

– Да ты откуда? – спросил я его.

– Чего?

– Откуда ты?

– Из Ананьева.

– Что ж ты тут делаешь?

– Чего?

– Что ты делаешь тут?

– А сторожем сижу.

– Да что ты стережешь?

– А горох.

– Да, помилуй, сколько тебе лет?

– А бог знает.

– Чай, ты плохо видишь?

– Чего?

– 'Видишь плохо, чай?

– Плохо. Бывает так, что ничего не слышу.

– Так где же тебе сторожем-то быть, помилуй?

– А про то старшие знают.

«Старшие»! – подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки.

Тургенев

Не знаю, найдутся ли в богатом французском натурализме картины, столь мастерски написанные. Для меня ясно одно –

иного натурализма я не признаю. Я никогда не понимал и не понимаю полного объективизма. Тенденция необходима. Тургенев, рисуя такие вот натуралистические картины, словно электрическим током пронизывал все общество, весь народ. Шелгунов делает следующее замечание:

> Это картина печальная. Она, правда, не потрясает вас как драма, как сознательная борьба человека за свое нравственное и физическое существование, но она вас пришибает, гнет к земле, глушит. Вам становится и больно, и обидно, и стыдно – а за кого? За кого?…[24]

Существует внутренняя связь между «Записками» Тургенева и картинами Гроттгера.[25] В душе надолго остается какое-то печальное, неизгладимое чувство, которое растворяется только в слезах.

Это именно и называется: «Das Wirklichkeit zum schönen Schein erhoben»,[26] как говорил Гете. Такой натурализм я приемлю и… таким путем хотел бы идти.

20 ноября 1886 г. Прежде чем я начну с натуралистической точностью фиксировать дни моей жизни,[27] мне хочется сказать о моем новом чувстве, о нашей новой религии – моей и Яся Н. Да, это не что иное, как религия, наша вера и упование, насущная потребность, созревшая в последние дни одиночества. От прошлогоднего чтения Тургенева у меня в памяти остались следующие слова:[28]

> – Вы очень любите свою родину?
>
> – Это еще не известно… Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил…
>
> …вы сейчас спрашивали меня, *люблю* ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после бога? И когда эта родина нуждается в тебе… Заметьте, последний мужик, последний нищий в Болгарии и я – мы желаем одного и того же…

Итак, я хочу сказать, что, отрекшись от какой бы то ни было религии, искоренив всякую привязанность, не имея семьи, никого, кому бы я отдавал свои мысли, плоды каждодневных трудов, я все же хочу иметь какую-то цель, какой-то светоч, который согреет меня в тяжелую минуту, когда все обрушится на меня, чтобы терзать меня, коверкать мою жизнь. Во всем я

сомневаюсь, ни во что не верю. Я не знаю, существует ли бог, бессмертна ли душа, и меня нисколько не занимает такой казалось бы небезынтересный вопрос о том, есть ли загробная жизнь. Все это мне безразлично, я полон сомнения и неверия. Я издеваюсь над верой и религией, словом, тому, что мы называем душой, не даю пищи, какая ей необходима в людях моего типа, в неврастениках… А порой все существо так жаждет молитвы, так стремится к беспредельному вдохновению, к тайному общению души с чем-то неведомым, с каким-то таинственным сердцем. Этим сердцем, этим великим таинством будет для меня теперь не бог, поскольку я его не признаю, не религия, поскольку я презираю ее, не загробная жизнь, поскольку я не верю в нее, – им будет вселенская душа, реальное божество, жизненная религия и вечная жизнь – отчизна. И право, здесь сольются все родники и ручьи, берущие свое начало еще в детстве, в молитвах матери. Какой-либо юный консерватор или ярый прогрессист может счесть это глупостью. Но человек, который, подобно мне, сотни и тысячи раз обдает себя презрением и вновь и вновь погружается в мутный и приторный омут пессимизма, должен иметь в тайниках души искру, не гаснущую во тьме презрения к самому себе… Даже будь ты преступником и тогда можешь сказать себе: «Есть еще во мне одно святое чувство, любовь, которая меня никогда не обманет, которой никогда не коснется тень сомнения и скептицизма». Это чувство всегда подкрепляет, оно выше лживой любви к богу. Ах, разве можно любить бога, если не любишь родной земли? Любить человечество – это пустые слова: любить можно только поляков. Итак, человечество для меня – это мой народ, вселенная – родная земля, а мой бог – это отечество и все то, что заключено в этом слове…

Действительно, жизнь моя порой горька – быть может потому, что я самолюбив, а может потому, что я растяпа. И мысль, что отныне я стану пламенным патриотом, утоляет мою печаль. Я не совершу ничего великого, но может быть я принесу какую-нибудь, пусть самую маленькую и незаметную, капельку меда в родной улей. С полной искренностью говорю, что в этом я найду утешение. Возможно, это не что иное, как особый род тщеславия, но я от него не отступлюсь. А может мне еще улыбнется счастье… может, исполнятся надежды Янека… Я был бы тогда непомерно счастлив, и мои друзья «могли бы сказать обо мне, что я ее любил…»[29]

Я – не революционер, я – не человек действия. Как я уже писал на первой странице, я рефлектирующий интеллигент, я – олицетворенное психологическое самокопание, поэтическая беспомощность, сентиментальность, я романтик в шляпе

позитивиста, человек минувшего поколения, который заблудился в современности, я – это шаг назад, нуль, я Гамлет, Гамлет и еще раз Гамлет…

Я читаю Милля, поношу романтизм и даже чувства, а душа моя слагает оду в честь луны; рыдаю над Словацким и цитирую Конта. Это наш проклятый век порождает такие аномалии. В другое время я бы что-то представлял из себя… например, когда был в моде Вертер и мечтатели, умиравшие от чахотки.

«Ах – быть поэтом! Знаешь ли ты, девица, что это значит?»[30] А значит это быть очень несчастным, аномалией, эксцентричным существом, ненужной рухлядью, нулем. А жить надо…

Поэтому пусть никто не смеет отнимать у меня любовь к родине! Эта звезда будет светить мне, хотя бы все вокруг стали космополитами.

Другой вопрос – какой избрать путь, чтобы эту капельку меда… Шумно будет все это обсуждаться завтра на улице Гортензии… С нетерпением жду собрания. Вацлав пойдет туда впервые. Буду громить его космополитизм – и чего не смогу доказать в гражданском споре, докажу тумаками на его спине.

Вот только чтение стихов…[31] Я совсем стал eine Deklamatormaschiene.[32]

Итак, завтра напишу обо всем, что услышу. А что я представляю собой сейчас – уже ясно.

Я – красный патриот (насколько такой желчный поэт, как я, может быть красным).

31 января 1887 г. Этюд третий. Конопницкая.

> Заклинаю живых: пусть надежд не теряют,
> Пред народом несут просвещения факел…

Этот страстный призыв умирающей истерзанной души, последнее заклинание[33] человека, который, подобно Мюссе, своим больным детским сердцем заглядывал в будущее и предугадывал его, неразрывно связан с поэзией наших дней, с поэзией Асныка и Конопницкой. Об Асныке я уже говорил,[34] теперь на очереди Конопницкая.

После появления на свет «Еженедельного обозрения»,[35] которое, как нас учил Бем, возвещало наступление эпохи критики и журналистики, неумолимый меч иронии систематически разил последних могикан великой армии Мицкевича. И романтизма не стало.

> Ах, хватит с нас тех сладких трепетаний,

Улыбок ироничных поневоле.
Кровавых лун, туманных одеяний
И тайных проявлений адской воли,

Довольно с нас неясных предсказаний,
Пророков, умирающих от боли,
Обожествленья, снов, печали черной
И прочей чертовщины стихотворной —

заявлял Охорович[36] в то время, как Ожешко убивала романтизм своим образом «Convaliusa Convaliorum»,[37] а Свентоховский[38] зло издевался над ним.

Застыдились Асписы, Фаленские[39] e tutti quanti,[40] торжественно порвали струны своих звучных лютней и гордо объявили: песен не будет!

И долго не было песен. Все бросились стремглав умываться ледяной водой рассудка, протрезвляться, протирать глаза. Стали учиться. Натиску фаланги, которую я вынужден здесь окрестить пошлым именем «позитивизма», поддались даже старики, сидевшие в своих извечных «Колосьях», «Варшавских библиотеках», «Еженедельниках».[41]

Все пришло в движение – все начали учиться у Европы, наспех вбивать себе в голову премудрости контов, дарвинов, миллей, боклей. Можно смело сказать, что польская интеллигенция сделала шаг вперед. И, как при любых внезапных переворотах, – нашим продвижением многое было сметено, многое растоптано. Не менее двадцати лет прошло, прежде чем мы подумали, что надо также и создавать – и начали создавать. Вот к этому созидающему, возрождающему и врачующему отряду принадлежит наша поэтесса.

Что песня? Звук пустой и ветра дуновенье!
Искусство с истиной не выдержит сравненья!
Поэзии дано быть только пустоцветом…
Но нынче ей конец! Приказано поэтам
Из города уйти с венцами на челе.
За ними заперли афинские ворота… —
Так полагал судья. Но что там? На земле
Неясное происходило что-то.
Глаза раскрыв, ребенок ввысь глядел
И озирал зари пылающей предел
В восторженном самозабвенье!

И он дрожал от страстного волненья,

И руки простирал, и чистый, как кристалл,
Он слово: лютня! лютня! прошептал…
Что это, боги?… Вновь поэт явился?… —

говорит она в своем «Вступлении».[42] Она говорит здесь, что чувство необходимо для интеллекта, для жизни. Можно отвергать поэтический лепет, но нельзя уничтожать поэзию как фактор цивилизации.

Какова же эта новая поэзия? Ибо после взбучки, которую ей задали позитивисты, она должна быть новой.

Конопницкая определяет ее так:

Не петь с тобой мне, соловей лесной!
Не с вами, розы, расцветать весной
Вблизи дорог, где тысячи несчастных
Идут, гонимы бурей бытия,
Не быть мне солнцем в небесах бесстрастных, —
Нет! с человеком буду плакать я![43]

Таким образом, Конопницкая в своих стихах поведает нам о человеке, о его тяжелой доле, о нищете, слезах. Итак, она покидает таинственный мир эльфов и русалок – порывает с романтизмом, романтизмом в узком смысле слова, рожденным вдохновением Мицкевича и берущим свое начало от Клопштока и Гете.

Грань между этими понятиями очень тонка, но она существует и существует именно у Конопницкой. Она – родоначальница новой поэзии и единственная ее представительница. Приглядимся же к этой особе…

Мария Конопницкая, урожденная Васютынская, родилась в 1846 году.[44] Образованием своим занималась сама, вышла замуж, путешествовала по Карпатам, в 83 году ездила за границу, в 84 году редактировала «Рассвет».[45] Вот и все, что известно о ней в истории литературы. Хмелевский в «Очерке польской литературы последних 20 лет»[46] едва упоминает о ней, не больше уделяет ей внимания наш злоречивый Антоний Густав в истории литературы Спасовича,[47] время от времени в хронике «Правды» или «Колосьев» попадаются скудные стереотипные рецензии. Исследования же, из которого пишущий эти строки Сент-Бев мог бы что-нибудь позаимствовать, до сих пор еще нет. Ну что же, будем громоздить парадоксы!

Как я уже сказал, поэзия Конопницкой отличается от романтической поэзии следующими чертами: она демократична,

использует успехи нашего позитивизма и вбирает в себя достижения… натурализма. Внешне, по своей форме, она отличается от поэзии предшествующего периода лишь индивидуальной манерой поэтессы.

Словацкий тоже был демократом, но его демократизм не имеет почти ничего общего с демократизмом Конопницкой. Демократизм Словацкого проистекал не из живого ощущения действительности, он не был рожден непосредственным сердечным восприятием людского горя и нищеты, то не был крик отчаяния, рвущийся из груди при виде того, как массы народа теряют человеческий облик. Демократизм Словацкого был идеей, почерпнутой из созданного поэтами мира; убегая от многоголосого шума жизни, он переживал ее печали и радости в сонном ясновидении. Таков же был и второй наш демократ – Уейский[48] и третий – Асныk. Послушаем же теперь нашу поэтессу:

Я полечу, как раненая птица,
По-над землею, истомленной болью,
Чтоб к тысячам несчастных обратиться,
Дыша любовью!

Как ласточка, затрепещу крылами
Над селами, над крышами косыми,
Над рощами, над нашими полями,
Над речкой синей.

Услышу стон, увижу злые раны,
Которые угрюмый сумрак прячет,
И вопрошу я месяц и туманы:
А кто там плачет?

Пускай бы мне они не отвечали,
Я облакам пошлю мою тревогу.
А спросит бог: «Чьи это там печали?» —
«Мои!» – отвечу богу.[49]

Эта жалоба словно бы исторгнута из груди Фауста, и в то же время она настолько сугубо польская, что невозможно обвинить поэтессу в плагиате чувства. Сравнив этот демократизм с философскими рассуждениями Словацкого в письме, например, «К автору трех псалмов» или с иронией, звучащей в его «Гробнице Агамемнона»,[50] мы легко заметим различие. Струны же, которую с такой силой затронула Конопницкая, у нас не касался

еще никто.

Прочтите, например, «La république» Уейского[51] и «На Новый год» Асныка, и вы поймете, что они провозглашают демократизм, исходя из принципа во имя благородной идеи равенства, в которой заметен легкий оттенок космополитизма. Конопницкая же не может молчать, потому что ее ранит, мучает, терзает нищета мужика, мужика, а не мужичка, и притом польского мужика.

И она вовсе не доктринер, она не подчиняет интересы всех слоев общества интересам народа. Извините, господа, что я непрерывно цитирую стихи, но приведенные отрывки лучше всего говорят сами за себя:

Как брат, что своего родного брата
Увидел после долгих лет разлуки,
Так мы, придя в каморки к вам и в хаты,
Безмолвно вам протягиваем руки.

Как далеки мы!.. Как давно расстались!..
Зачем не вместе в гору шла дорога?
Мы вверх ушли, а вы внизу остались…
Кто даст ответ за это перед богом?

О братья! Мы приходим к вам в жилища
Не ссориться, не спорить понапрасну.
Откройте нам объятья! Мы вас ищем,
Мы более виновны… и несчастны.[52]

Я уже отмечал, что Конопницкая в творчестве своем использует достижения нашего прогрессивного движения. Посмотрим, как обычно рассуждают поэты, и раскроем философию нашей поэтессы. Мракобесам и тем романтикам, которые не понимают поэзии без галлюцинаций и безумствований, может показаться странным, как некоторые современные теории, в корне разрушающие прежние понятия об устройстве и целесообразности мира, могут проникнуть в поэзию, которая парит над действительностью. Многие деликатные умы считают теорию движения, постоянного изменения и неуничтожаемости материи, а особенно теорию борьбы за существование жестокой и отталкивающе бездушной. Но поэтический ум, в котором будят отзвук знамения времени, не может оставаться равнодушным к значительным философским течениям. Он воспринимает их по-своему, придавая рационалистическим теориям символическую окраску. Так,

например, теория движения и развития выступает в поэзии в идеалистическом освещении как постоянное возрождение идеала. Детерминизм порождает идею любви и прощения, теория причинности – идею божества. У Конопницкой идея божества выглядит так:

Не ведаю! О, если б сам ты, боже,
Небесное покинул благолепье,
Увидел хаты, поле, бездорожье
И злой судьбы бесчисленные цепи,
И бледность лиц, и в каждом сердце – горе,
И тайную слезу в печальном взоре,
И на груди пылающие раны…
Увидел бы, как мрачно и туманно,
И голодно, и худо нам на свете,
И сколько бед стоит перед порогом…
Ты зарыдал бы, видя страсти эти,
Ты тот, кого мы называем… богом.[53]

Одним словом, в философское рассуждение вплетаются чувство и жалоба. Знакомая нота, звучащая еще со времен «Импровизации» Конрада.[54] Эти постоянные в поэзии Конопницкой жалобы и молитвы уравновешивает неизменная в каждом стихотворении надежда на… рассвет.

Смело иди, молодой и мятежный,
Действуй во имя наших потомков!
Труден, товарищ, твой путь неизбежный,
Но завтрашний день уже рдеет в потемках.[55]

Она всегда борется с неверием. Все зная и всех жалея, она встает на защиту чувства и требует милосердия и света для народа, для темных и обездоленных. Упоминая о католической церкви, она всегда зло издевается над ней, отворачивается от нее, как от олицетворения подлости.

О! Если бы Христос сейчас был с нами,
Он эту ночь провел бы с бедняками.
Сирот детей и нищих матерей
Согрел бы возле алтарей.[56]

Читателю, который перелистает подряд два тома

стихотворений поэтессы,[57] пафос ее может показаться однообразным. Но он пьянит и возбуждает, как музыка.

В молитвах и фрагментах Конопницкой всегда чувствуется глубокая ненависть к привилегированным. То не вспышки гнева, не Дантонова ненависть, какую мы находим у Высоцкого.[58] В устах Конопницкой протест часто звучит жалобой:

> Но издавна, знаю, учили батогом
> Главу обнажать перед панским порогом.[59]

Что касается третьей особенности, отличающей идеалы поэтессы от романтических идеалов, то она состоит в том, что Конопницкая вслушивается в чувства и думы крестьянина, в то время как романтизм воспроизводил лишь народные предания, верования и легенды.

Обратимся, например, к образцу романтического поэта – Мицкевичу. Мицкевич, изображая колдовской мир, мир духов и русалок, не остается равнодушным, он черпает оттуда темы, образы, перерабатывает их, переплавляет в своем сердце и уме и сам, как в «Дзядах»,[60] верит в него; ему кажется, что он окружен роем своих таинственных героев, которые понимают его, сочувствуют ему, служат средством для выражения его чувств.

Конопницкая же передает нам чувства мальчика, пасущего лошадей на выгоне, мужика, что утопился с отчаяния, бредущего на заработки батрака, девушки, которую манит широкий свет, матери, провожающей в солдаты единственного сына и умирающей с горя. Здесь крестьянская речь, их говор, их чувства. В этом и заключается черта, которую я назвал натурализмом поэзии Конопницкой. Иначе ее не назовешь. Тенденция проявляется у поэтессы только в выборе темы, образ же говорит сам за себя. В этом заключается непреодолимая трудность для поэта-лирика. То, что Конопницкой удалось одолеть эту трудность, свидетельствует о силе ее таланта.

Поэтесса настраивается, вживается в духовный мир крестьян, отрекается от индивидуальности и тенденциозности ради изображения правды, которая бросается в глаза. Подобной способности не было и нет ни у кого из наших поэтов.

Ибо для этого надо: 1) почувствовать всю глубину крестьянского горя, 2) почувствовать это горе так, как чувствует его крестьянин, 3) сказать о нем мужицкими словами, но без всякого при этом ущерба для художественности произведения.

Поэтесса удовлетворяет всем этим требованиям, в чем легко убедиться на следующем хотя бы примере:

Мерцает, серебрится
Студеная водица…
Она лепечет, льется,
Аж в сердце отдается.
А во поле туман…

В потемках вздрогнет хата,
Когда жена застонет.
Рука чужая чья-то
Меня со света гонит:
Эй, отдохни, мужик…

Как этот месяц светит!
Помилуй, божья мати!
Некормленые дети,
Холодные полати…
Наслал господь беду!..

Приду ль им на помогу?
В дорогу! Эй, в дорогу!
Волна же успокоит,
Соленый пот омоет.
Кровавую слезу.

Шумит вода у млина,
Ложится тень в долину.
Ой, завтра зорька будет,
Не всех она разбудит!
Уснувшие пусть спят!

Белеет зорька низко.
Что там шумит так близко?…
Молю отца и сына…
О господи, спаси нас…
Будь милостив ко мне![61]

По-моему этих нескольких строф достаточно, чтобы Конопницкая заняла, пожалуй, первое место на нашем современном Парнасе. Тургенев, объективно и в такой же манере создавая образы крестьян, потрясал всю Россию – от царя до мужика. У нас не интересуются мужиками-гамлетами. А такой Гамлет в сермяге, его «be or not to be»[62] впечатляет и потрясает, как трагедия Эсхила.

Если бы некто с лягушачьей кровью попросил научить его патриотизму и демократизму, – будь то белый, здравомыслящий[63] или космополит, я дал бы ему прочитать несколько таких вот правдивых строф; я повел бы его на Подляшье к мужикам-униатам, которые не стали сеять озимых и заявили: везите в Сибирь, а в церковь – не пойдем…[64] И я ручаюсь, что у моего ученика забилось бы сердце, он устрашился бы суда истории и осознал бы непреложный долг каждого защищать свое гнездо.

По манере письма Конопницкая является талантом исключительно лирического направления. Даже ее эпические этюды по-своему лиричны. Ее творческий почерк трудно сравнить со стилем других наших поэтов, зато какая в нем необычная близость с рисунками Гроттгера. Поразительна общность настроения, склонностей и художественных приемов. Само собой напрашивается предположение, что ее «Рассказ раненого» является пересказом эпизода из «Войны» Гроттгера.[65]

Стихотворения нашей поэтессы и рисунки гениального художника – это одна юдоль слез. Прочтите ее произведения, и вы найдете в них и «Иди за мной», и «Предчувствие», и ужасные картины «Войны». «Мужицкое сердце» Конопницкой – это та же «Жеребьевка» Гроттгера. Кроме того, есть у нее вещи, непосредственно написанные под впечатлением картин Гроттгера, например отмеченное на конкурсе стихотворение «Из папки Гроттгера». Эти два гениальных художника взаимно дополняют и раскрывают друг друга, паря на одной высоте. Здесь нет подражания, есть лишь общая художественная направленность, общая атмосфера чувств и симпатий и одинаково понятая любовь к родине.

Любовь к родине с подобной же силой выражена в произведениях Сырокомли,[66] а из иностранных поэтов – у Шевченко.

Она проявляется с предельной яркостью в стихотворениях, написанных Конопницкой за границей.

О, как вы блаженны, ключи над обрывом,
Когда вы кидаете страстно и смело
Каскады на горы – и нет здесь предела
Ни вашим желаньям, ни вашим порывам.
Однако за горами край есть далекий,
Где тихи и медленны речек истоки,
Где русла как тайные слезы народа,
Проносят свои молчаливые воды.[67]

Чтобы определить ее более точно, надо бы привести целые строфы. Вот, например, стихотворение «Издалека»:

Я видела вблизи и слезы и тревоги,
Я чуяла вблизи людских сердец биенье,
Я знала города, и села, и дороги,
И жизнь, и угнетенье.

Я видела вблизи и сны, что нас томили,
И клятвы, и тоску, и горе, и заботы,
Я ведаю о том, что не достичь в бессилье
Далекие высоты.

Я видела вблизи и слабости и вины,
Бесплодный сон мечты и самоутешенья,
В часы, когда заря восходит на вершины
И близок миг свершенья.

Устала я от слез и горького волненья,
Мой путь через туман стремится одиноко,
Чтоб я на вас, живя в стране отдохновенья,
Взирала издалека.[68]

Это привязанность, которая никогда не ослабевает, ибо в основе ее лежит любовь не к идее родины, не к чему-то отвлеченному, а к земле, это переживание горя как такового, ран, наготы и грязи. Так любит свою деревню мужик. Таково это чувство у Конопницкой.

Особенно ярко оно проявилось в прекрасном стихотворении «К границе»,[69] Шедевр этот передает великую скорбь народа, страдающего от нанесенной ему обиды.

Путешествуя по Европе, Конопницкая писала письма с дороги. Эти письма так же, как и два тома ее стихов, очень интересны с точки зрения ее стиля.

Среди произведений Конопницкой есть стихотворения, написанные в стиле Словацкого, и идиллии в духе Ленартовича, [70] и импровизации с золотой соразмерностью стиха Мицкевича. Удивительное явление: она владеет всеми этими стилями с одинаковым мастерством, усваивает каждый и подчиняет себе. Это безусловно особая, психологическая, если можно так выразиться, способность ее таланта. Можно ли создать действительно художественные произведения в стиле Ленартовича, если не имеешь свойственного ему тяготения к идилличности? Можно ли так блестяще воспроизводить стиль

Словацкого, не обладая его душой? – ибо, как известно, «стиль – это человек». Все, что только есть сейчас самого возвышенного в польской лирике, сосредоточивает в себе перо Конопницкой.

Итак, из приведенных выше, возможно парадоксальных рассуждений я делаю вывод, что поэтесса, творческий портрет которой я набросал, поняла и исполнила завет умирающего Словацкого, чтобы «живые не теряли надежды». Она обещает нам рассвет, будущее, она заклинает нас жить и запрещает спать, обнажает наши раны и велит любить, врачевать их. Ослушаться ее не имеют права те, кто стоит в авангарде народа, к кому она обращается, говоря:

> В трудном марше
> Пусть впереди будут юноши наши.[71]

24 февраля 1887 г. Прекрасно ты, щемящее грудь, влечение к добру, самопожертвованию, добродетели! Сладостны чистые слезы, пролитые из чувства братства. Как возвышенна должна быть радость посвящения во имя тихого сна матери, светлых дум отца, во имя спокойствия чтимых тобою старцев. Счастливый тот день, когда ты видишь, что твои мечты, твою веру понимает самое близкое на земле, единственно родное сердце матери. Такая вокруг безмерная даль! – и как ни напрягай зрение, сколько ни окидывай взором просторы земли, не найдешь никого, кто бы подумал о тебе: что с ним сейчас?

Я страшно одинок! Иду, иду и не думаю, куда я иду и зачем… Только иногда, когда на сцене или в жизни услышишь всепоглощающие материнские слова, увидишь горящий любовью взгляд, и спросит тебя твой враг – ты его сразу узнаешь, он – насмешник и меланхолик: «А есть ли у тебя на свете кто-нибудь близкий?»

Но вот он исчез, мой злой сатана, двуликий божок, имя которому пессимизм… и снова день за днем течет жизнь, бессмысленная… или заполненная… любовью к родной земле.

В этой земле лежит и моя мать. Как ты богата, родная земля. Забыть тебя – значило бы забыть о своей матери. По-крестьянски люблю родину.

1 марта 1887 г. Сейчас мне кажется, что у человека инстинктов хороших больше, чем плохих. Когда смотришь пьесу, где речь идет о борьбе добра и зла, от всей души желаешь, чтобы восторжествовало добро. Разве это не доказательство? Я не отрицаю, что, если бы эту нашу склонность к добру пропустить как луч света через призму, выявились бы такие составные части

этого чувства, которые сбили бы нас с толку. Мы увидели бы эгоизм – наш эгоизм, и много других печальных вещей. Но как бы то ни было, от природы в людях заложены хорошие инстинкты. Добро является первоосновой человеческой натуры. Я верю в это – и люблю людей. На земле много зла, но я не хочу верить и никогда не поверю в его торжество. Я не идеалист – я знаю о существовании страшных язв и не раз видел их так близко, что меня отравлял запах гнили и пугал отвратительный их цвет. Немало вплелось моих бусинок-слез в четки ежедневных молитв.

Но я не верю в торжество зла. Блаженна минута, когда можешь написать такие слова.

7 марта 1887 г. Вчера я почти всю ночь читал первый том «Преступления и наказания» Достоевского. Ни Золя, ни Бурже, ни даже Прус не могут похвалиться таким знанием человеческой психологии. Рассуждения Раскольникова после совершения им преступления написаны с такой впечатляющей силой, что, потушив лампу, я в испуге бросился на кровать, чувствуя, что дальше читать просто невозможно – ты форменным образом проникаешься его мыслями, тебе кажется, что ты сам становишься маньяком. Никакая другая книга, за исключением, пожалуй, «Форпоста»[72] не хватала меня так за сердце. Эта психология выходи! за пределы обычных чувств; я сомневаюсь, чтобы Достоевский сам пережил такого рода кризис. И в то же время каждая мысль отображена там настолько правдиво, что невозможно предположить, что все» это вымысел. Безусловно, это гениальная интуиция, невероятное искусство отгадывания мыслей. Созданные им картины потрясают, гнетут, подчас его невозможно читать. Восторгаешься Разумихиным и Таней, единственными положительными персонажами, цепляешься за них с радостью потому, что тебе становится и страшно и больно. Это не люди, а паршивые собаки, выброшенные на свалку. Такая Соня – проститутка, которая содержит пьяницу отца… ужас! Я проснулся сегодня утром с головной болью, чувствуя невыразимую радость оттого, что никого не убил.

Деньги я получил. Друзья они плохие: начинаю обращать внимание на женщин. Но у меня нет грязных мыслей: я люблю наблюдать издали за молоденькими девушками, люблю смотреть, как светится на солнце выхваченная ветром непокорная прядь волос, видеть маленькое личико и крохотные ножки, ступающие по тротуару: стук, стук!

16 марта 1887 г. Сегодня я был в костеле Св. Креста. Там кого-то отпевали, звучал орган, в грустных псалмах слышался

плач и несказанная, безграничная печаль, проливающая бальзам на душу. Я смотрел на памятник Шопену и высеченную на нем надпись: «Где твое сокровище – там и сердце твое».[73]

Нельзя было бы посвятить этому гению лучших слов. Сокровищем была для него родная земля – сокровищем, воспетым в его безмерно печальных, полных слез и веселья песнях, в мелодиях, терзающих сердце, слезами жгущих глаза.

Шопен – для нас такое же святое имя, как Костюшко, как Мицкевич. Поднимаешь глаза, и они наполняются слезами при слове: Шопен!

16 мая 1887 г. Вчера целый день ничего не ел. Я вышел из дому утром, мне нужно было во что бы то ни стало раздобыть немного денег. Кто поймет, каково ходить от дверей одного товарища к другому, чтобы занять деньги? Кто поймет ужасное чувство отвращения к себе, когда ты высказываешь свою просьбу? Я был у Рогальского, Бельницкого, Зидлера и никому не сказал ни слова. Это попрошайничество – позор! Прошло уже три дня, с тех пор как в субботу я съел последний кусок хлеба. Есть мне не хочется, но я знаю, что я должен что-нибудь съесть, – я слабею, и у меня подкашиваются ноги. Вернувшись домой и застав Соплицу, преспокойно вытянувшегося на кровати, я затеял с ним страшную ссору. Мы ругались, оскорбляли друг друга, это должно было заменить драку. Так могут ссориться только голодные. Так ссорятся уличные женщины.

Выйдя потом в город, я встретил Карвасинского, который пригласил меня к себе на вечер. Его литературные планы, по-моему, смешны…

6 июня 1887 г. Сегодня я уснул как обычно – на восходе солнца. То был лихорадочный страшный сон. Мне приснилось, будто ночью ко мне пришел агент тайной полиции, забрал мои дневники, читал записки; я видел, как он выписывает фамилии моих товарищей – участников собраний, а я лежал на кровати со связанными руками, силясь разорвать веревки. Наконец, увидев, что «ищейки» читают письма Елены, я проснулся с криком.

Проснувшись, я несколько минут лежал без движения, чувствуя страшную усталость.

Как знать? Если бы меня взяли одного, если бы никто больше не пострадал, может, это было бы даже к лучшему… Просыпаться ежедневно, чтобы влачить эту жалкую жизнь, погружаться в водоворот бессмысленных дум… А вообще стоит ли каждое утро возвращаться к чудовищно опротивевшим мыслям, к страданиям, которые я должен переносить и над которыми в душе смеюсь?

13 июня 1887 г. Елене я не ответил, а вернее, не отправил написанного письма. И не напишу ей никогда. Она добра, очень добра. Даже если в ее последнем письме не было ни слова правды, уже за одно то, что она отозвалась в эти дни, она заслужила мою глубокую благодарность. Что же я ей отвечу? Что может написать любимой женщине человек голодный, сломленный жизнью и невыносимо, страшно униженный? Что может написать человек, у которого голова раскалывается от отчаянных мыслей, воспаленный мозг ищет путей спасения, выхода из этого ужасного болота? Просыпаешься утром и остаешься один на один с нищетой. Что делать, что делать? Работы, работы! Кто же ее даст, с кем о ней говорить, к кому обратиться? Все рушится, трещит, как лед под утопающим. И я чувствую, что опускаюсь на страшное дно жизни. Что делать?

15 июня 1887 г. Читали с Ясем «Форпост» Пруса. Самого Пруса встречаем по нескольку раз в день на улице. Такой нескладный, похожий на Гоголя, в сером сюртуке, с двумя парами очков – и пишет такие чудесные вещи! «Форпост» я читал уже в третий раз!

19 июня 1887 г. (Рассвет.) В «Collegium novum» выдавали дипломы докторов философии.[74] Ими были удостоены несколько ученых. «Почему диплом не дали… Прусу?» – спросил я вчера Васильковского.

– Потому, что он подлец, свинья!

– Прус?!

– Да. Не хотел подписать адрес Ежу,[75] не хотел войти в жюри конкурса, объявленного пулавскими студентами.[76] А его апрельские хроники?[77] И написал-то всего несколько шутовских анекдотов, несколько сентиментальных рассказов – и за это его почтить дипломом?

Вот так обычно соотечественники оценивают своих пророков, своих великих людей. Недавно Новинский убеждал меня, что Крашевский не заслужил, чтобы его поминали добром, даже имя его следует заклеймить позором, подумайте, «этот великий Крашевский»… имел содержанку – немку!

Вот так судят у нас о колоссах, титанах, вождях народа!

По-моему, за Ежем идет у нас Прус. Первый – самый выдающийся поляк, второй – самый выдающийся художник. Сенкевич и Ожешко стоят особняком.

Прус – это художник, философ, поэт; он патриот и гражданин, экономист, журналист. В какой-то мере он соединяет

в себе черты Диккенса, Додэ, Достоевского. Наконец Прус – единственный у нас психолог народа.

Если бы меня спросили, кого я чту из своих соотечественников, я ответил бы – Ежа. Если бы меня спросили, кого я люблю, я бы ответил, что люблю Пруса.

Это замечательный человек.

Он так добр, что в его произведениях не найдешь плохих людей, так добр, что никогда не сторонится горя. Я не слышал в его гениальном смехе презрения. Если вслушаться в его смех, в нем звучат слезы. Слезы – вот его улыбка.

Раскрывая психологическую драму маленьких людей, Прус проявляет гениальную интуицию и необыкновенную силу художественного воплощения.

Его произведения – это поэмы, трогательные, как музыка Шопена, и одновременно они подобны открытиям, совершаемым при помощи микроскопа. Он показывает в свой микроскоп жизнь таких сперматозоидов… Но откуда ему ведомы их страдания? Где он черпает силу, которая нас возбуждает, сердит, бесит, наконец приводит в ярость? Только поднимешь глаза, полные слез, и на следующей же странице видишь его грустную улыбку… Объяснения он не дает.

Прус – поэт, и этим все сказано. Это великое сердце, возлюбившее всех униженных, презираемых, сирых Прус – это сердце народа. Его произведения нельзя постичь разумом, ибо он поэт. Иногда читатель смеется от души там, где льются слезы.

11 ноября 1887 г. Когда голодный и ослабевший, в пальтишке с чужого плеча, тесном как смирительная рубашка, в дырявых ботинках, чей вид взывает к небесам о мести, с пылающей головой – я поворачиваю с Краковского предместья на Каровую улицу и стою у самого ее начала, и ветер, снег и дождь воют не в полсилы, а во всю свою дьявольскую мощь, когда холод пронизывает меня до мозга костей, – я падаю духом и начинаю чувствовать всю низость, подлость, бесполезность, ненужность своего существования, всю свою посредственность. Тогда слезы катятся по моим щекам черт знает почему, и я отдал бы полжизни, лишь бы эти мысли исчезли. Я так одинок, что бесценным богатством кажется мне мечта о том, будто у меня есть мать, которая мне не может помочь, не может меня спасти, и только пишет мне раз в год: «Сын мой, будь стойким, трудись, никогда не смиряйся духом. Помни, что я еще жива».

Но у меня нет никого, кроме того беспредельного, что зовется родиной. Эта мать завладевает всем сердцем, а взамен не дает даже искры чувства, не позволяет даже умереть за нее.

4 марта 1888 г. Леопарди и Шевченко ударяют порой в медную струну горького отчаяния, бесстрастного, как оскал мертвеца. Звук, извлеченный мужицкой рукой украинца, пожалуй, еще более мрачен, чем жуткие, резкие, замогильные аккорды итальянского горбуна. С каким трудом, должно быть, из груди Шевченко вырвалась эта жалоба, соединенная с насмешкой: «А может, боже, с панами ты советуешься, как править миром?»[78]

В поэзии этого мученика звучат ноты простые, но мрачные, хватающие за сердце, и слышатся в ней страдальческие стоны – а порой пронзительный крик, крик ста тысяч гайдамаков. Там привьется, взойдет и принесет плоды великая идея Лассаля. Низвергнуть пана и задушить царя, убить попа и повесить жида, мужику дать землю и образование – вот святое дело, взращенное в веках. Пан, будь то русский или поляк, оба дерут шкуру с украинцев… Там родился пан Леон и теперь он взирает глазами украинца на нашего краковского пана.

21 мая 1888 г. Труд! Да, труд! Но почему труд не вознаграждается, почему мой должник[79] ест обед, а я вместо обеда грызу ногти? Почему я провожу бессонные ночи за работой, а светское общество с шумом разъезжает в великолепных экипажах, веселится в салонах, пьет вино из замшелых бутылок? Да, во мне говорит уже не абстрактное мышление, а голос серой толпы голодных, задавленных, отогнанных от стола.

Значит, коммунизм?

Попробуйте вы, сытые господа, не увидеть его здесь, в нашей бездне!..

Эта голодная неделя надолго останется в моей памяти. Мои мысли стали глубже.

2 августа 1888 г. У ксендза-настоятеля я познакомился с ее сиятельством урожденной графиней Езерской и пр. и пр., пани Натальей. Некрасивая, набожная, добродетельная, в беседе утонченно вежливая, как и подобает жене «станьчика».[80] Разговаривает только о том, о чем говорит ее собеседник, но много и изысканно. Завидую умению этих людей соблюдать светские условности. С его сиятельством молодым филаретом[81] я познакомился во время фейерверков. Обычный аристократ-шалопай, у которого одни только лошади на уме.

Зато сам «ясновельможный» является ярким воплощением того типа, который мы называем «польским паном», имея в виду и традиционный облик, восходящий к XVI веку, и современную его сущность. В этом последнем смысле он – настоящий буржуа. По

внешности – европейский джентльмен, в политических вопросах – «станьчик» и тиран по отношению ко всем. Каждого встречного в своих владениях он заставляет ломать перед собой шапку. Бьет крестьян по лицу и за малейшую провинность тащит в суд. Помню одно его изречение:

– Что такое, почему не наняли рабочих?

– Никак нельзя найти.

– То есть как это, раз я плачу?

– Да теперь все на себя работают, свои поля убирают.

– Мои деньги, значит – мои люди.

Вот почему я называю его законченным типом буржуа. Крестьянин и мещанин платят батраку на уборке урожая 2 злотых, не считая харчей, – он платит 50 грошей. Жнет пятью жнейками, пока крестьяне не убрали свой хлеб, а потом они вынуждены наниматься к нему за 50 грошей, так как во всей округе больше негде заработать.

За потраву он подает в суд, если ему не заплатят столько, сколько он потребует. Половину присужденного штрафа отдает на костел. Идет рука об руку с правительством. Уж не о нем ли писал Красинский: «С польской шляхтой – польский народ…»[82]

Надменность, скупость, кругозор «станьчика» – все это превращает его в заурядного австрийского королевско-кесарского подданного.

Нет в нем крови Солтыков,[83] портретами которых он гордится.

Это не поляк. Он лишь ругается по-польски, потому что польские мужики не понимают по-французски, лошадей объезжает как англичанин, а молится как папист.

8 августа 1888 г. Чтобы написать польский роман, нужно сначала обойти всю Польшу, все увидеть, понять и ощутить. В недрах жизни действуют таинственные закономерности, которые нужно самому познать, оценить, вынести на дневной свет. Есть бесконечно близкие нам люди, с которыми мы живем бок о бок и которые еще никогда не были изображены в беллетристике. Мир приказчиков, экономов и волостных писарей представал перед – нами лишь с юмористической стороны. Это несправедливо по отношению к ним. Можно с подлинным натурализмом показать, представить полякам этих парий цивилизации, которые не видят разницы между поляком и русским. С некоторых пор все новеллисты (то есть половина польской нации) бросились изображать крестьян, но от всей этой писанины осталась только одна гениальная вещь – «Форпост».

По мере того как я наблюдаю крестьянскую жизнь, мои

понятия об искусстве расширяются и принимают форму нерушимых принципов. Я выработал свои принципы реализма, исходя не из критической литературы, не из эстетических теорий Брандеса, Тэна, Поля Бурже Тургенева и Золя, а только из наблюдений. На фоне полей образы и закономерности вырисовываются сами. Деревенская жизнь и встречающиеся в деревне персонажи гораздо более доступны глазу и уму, чем разные типы горожан. Разгадываешь их потому, что они ходят без масок и, если их показать честно, правдиво и беспристрастно, интересны для всякого. Будучи поляком. я не могу, однако, согласиться с определением Золя: «Искусство – это кусок жизни, наблюдаемый через призму темперамента».[84] Польское искусство должно очертить для себя определенные границы в царстве натурализма. И вот почему. Примем за аксиому слова братьев Гонкур о том, что «роман это история тех, которые не принадлежат истории».[85] А отсюда вытекает необходимость писать безусловную правду. Но поскольку мы поляки, нам нужно больше всего думать о себе, неусыпно наблюдать самих себя, писать в романах свою собственную историю, вгрызаясь в ее гранит. Наш роман должен быть голосом народа, обращенным к одиночкам с притуплённым чувством патриотизма, а потому выбор темы, освещение некоторых явлений нашей жизни должны сочетаться с сатирой, упреком, бичеванием. Я не хочу никогда и никого бичевать, исходя из отвлеченных этических принципов, как это у нас делают; не хочу бичевать с позиций прогресса или мракобесия. Только умирающая нация, наше гибнущее польское «я» найдет во мне трибуна. Одним словом, строя роман на основе натуралистической правды, я хочу придать ему действенность статистических сопоставлений и выкладок. Наш роман должен быть счетом, предъявляемым совестью. Это не должно идти в ущерб искусству, которое лишь приобретет качества, выделяющие его из массы космополитических произведений, – оно будет польским. Сошлюсь для примера на «Форпост». «Форпост» может служить мерилом в дискуссиях о нашей национальной психологии. Вот как я понимаю наше искусство: реализм, правда, объективное сопоставление характеров подобно тому, как статистика сопоставляет кричащие факты.

Если бы хватило жизни, сил, терпения, наблюдательности, я бы показал в романе «Вестник» единоборство шляхетского и аристократического прошлого с будущим – с социализмом. В романе «Мы»[86] я нарисовал бы все слои народа, чтобы показать, чего мы стоим. И в том и другом романе я хочу уловить характер народа, запечатлев его на фоне современной жизни. Я бы хотел

писать так, чтобы французский критик, прочитав тургеневского «Рудина» и мой роман, отметил, что в первом раскрыт русский характер, а во втором – польский.

9 октября 1888 г. Вот что рассказал мне Юзеф. Однажды прошлой зимой, поехав в Сташов, он зашел на почту и задержался там. Вместе с ним ждали прибытия почты человек двадцать сапожников, приказчиков, лавочников. Они ждали «Слово».[87] Когда журнал пришел, почтовый чиновник стал читать вслух «Потоп»… Эти люди, побросав работу, прождали несколько часов на почте, чтобы услышать продолжение романа. Недаром говорят, что перед Сенкевичем народ держит ответ в своих патриотических чувствах. Это знаменательное явление. Я сам видел в Сандомирской губернии, как буквально все, в том числе даже люди, которые никогда ничего не читают, гонялись за «Потопом». Книги передаются из рук в руки, расходятся в миг. Небывалый, неслыханный успех. Сенкевич сделал много, очень много. Да будет благословенно его имя…

17 октября 1888 г. Читаю дальше исследование Мопассана.[88] Превосходно составлены посылки, из которых он выводит силлогизм, определяющий задачи литературы. Главное в них – это положение о правдивости, обусловленной красотой. Дальше он останавливается на вопросе, о котором я много думал, – на технике творчества, объективном или субъективном методе изображения. Речь идет о том, как лучше писать: «Ян почувствовал прилив бешеной ненависти…» или «Ян побледнел, губы у него побелели, кулаки судорожно сжались, глаза дико сверкали, брови сошлись, образовав над глазами темную, прямую линию и т. д.». Мопассан отстаивает второй способ. Я считаю, что лучше всего промежуточный вариант, ибо он облегчает создание образа, давая возможность объяснить психические процессы, выявить при помощи анатомического анализа закономерность данного характера. Читатель бывает ленив, он не любит, чтобы его заставляли думать, поэтому ему может попросту не прийти в голову, что мое описание, допустим, негодования, действительно выражает негодование. Ему ничего не стоит вообразить, что герой смеялся… Какое множество всяческих формул! Где ты, простота композиции, простота Гомера и «Пана Тадеуша»?[89]

Что может, например, сравниться с описанием земли, погоды, захолустных углов, глухомани, крестьянских и мелко шляхетских дворов, которые по памяти воссоздает Крашевский? В последнее время я читал несколько как раз таких его повестей – «Кто-то», «В Полесье» и др.[90] Эти описания так верны, дышат такой

искренностью, они, как живопись, напоминают виденные пейзажи. К тому же в них есть еще и то, чего не хватает писателям-натуралистам, – теплота. Ты не только воспринимаешь зрительно эти пейзажи: автор заставляет тебя понять их и полюбить. Я не говорю о героях Крашевского – это манекены, которых ты не знаешь, не видел и никогда не увидишь. Это опоэтизированные воспоминания старца. Ни жизни, ни правды – китайский театр теней… Зато каково его искусство рисовать по воспоминаниям – без сентиментальности и с тем же реализмом, какой отличает пейзажи Костшевского…[91] Сосны и лес на картинах Костшевского те же, что в романах Крашевского.

.

20 ноября 1888 г. Писательский дар – самое большое из земных сокровищ. Отворилась дверца твоей души и туда внесли свет. Когда ты пишешь, ты перестаешь быть собой: становишься благородным и честным, тебе все понятно, ты можешь привести в ясность мысли, накопленные за годы жизни… Выбираешь то, что тебе по душе, ты наделен необыкновенной памятью, она помогает тебе привести мысли в систему. Ты видишь, как все у тебя ладится. А если захочешь, пойдешь еще дальше – мгновение, и ты достигнешь полной гармонии, создашь образ истинной, совершенной, непостижимой красоты…

Вдруг – дверца захлопнулась! Те другие глаза, которыми ты только что смотрел на мир, слепнут, и ты снова становишься заурядным, обыкновенным, будничным человеком. Одним росчерком пера ты можешь испортить все прежнее. Это и есть процесс творчества.

7 декабря 1888 г, «Беспомощные» Ежа – это один из тех романов, в которых выражена идея, какой тешим себя мы – неудачники, как и он, отвергающие мысль о резне шляхты.[92] В романе есть одно место, где Еж говорит об единении шляхты с народом. Так должно быть и по нашему с Вацеком мнению, но так ли это в действительности? В действительности зреет почва для социализма. Это неизбежно. В действительности шляхта соединяется с народом только в одном случае – когда пан с деревенской девушкой лежат в кровати. Все же прочее – почва для социализма…

Вчера пан Ян[93] сказал мне с жаром:

– Держу пари, что в шести близлежащих деревнях нет ни одной девки, с которой я бы не переспал. Пусть Куба подтвердит.

– Есть, – смеется Куба.

– Ну?

– Здебка дочка…

– Ха-ха-ха! Девке-то сорок восемь лет. Тебе, Куба, в самый раз будет.

– Как же вы это?

– Как? Валю на землю и готово. Заорет – по морде.

– И девушек?

– Еще бы! Это особый смак. Получит потом воз хвороста или охапку камыша и в следующий раз такой еще будет покладистой, ого!

– Ну, а детишки?

– А мне какое дело… Есть так есть…

13 января 1889 г. У современной польской аристократии, так же как и у современной польской демократии, есть свои традиции. Если бы двух представителей этих направлений поставить лицом к лицу и заставить договориться между собой, что значит слово «традиция», то через две минуты они повернулись бы друг к другу спиной. В конце концов традиция – священнейшее слово и для пана З. и для меня. Но пан З. подразумевает под этим словом почитание всевозможных связей между аристократическими семьями, преимущественно в текущем столетии, память о всех замужествах, женитьбах и прочих родственных союзах даже с аристократией московской, прусской, австрийской и т. д. Совокупность всего этого называется нашей польской – священной и неприкосновенной – традицией. А у нас? У нас – Костюшко, Завиша, Конарский, Левиту, Мицкевич,[94] дым пожарищ, цепи, кандалы, казематы.

Вацек, Янек, Стах! – что у нас общего с паном Заборовским? Однажды он любезно спросил меня:

– Вы серьезно считаете, что следует с уважением вспоминать имена разных «бельведерцев»[95] или участников всех этих мятежей в 30-м и 63-м годах?…

22 января 1889 г.

> В честь годовщины, как велит обычай,
> Поднимем, братья, пенный свой бокал!
> Мой первый тост – за родины величье,
> Мой тост второй за тех, кто в битве пал.[96]

Не то что тост сказать, но даже словом не с кем мне перемолвиться, в здешнем безлюдье в эту грустную годовщину.[97] Память «павших» я отмечаю в одиночестве – мне грустно и горько. Как будто вокруг меня чужие люди, иностранцы… Да и те, наверное, скорее бы поняли, почему мы чтим память нашей

«пятерки»…[98] На чужбине изгнанники собираются, наверное, сегодня, чтобы поговорить о любимой родине, – а на родине, которую мы боготворим, – как же здесь пусто, как холодны сердца, как низки чувства, как никчемны люди! Только Варшава смеется над могуществом ничтожества и подлости,[99] только там в этот час собирается молодежь и «сжигает в алоэ» гордые сердца[100] павших, только там будут сегодня допоздна гореть в окнах мансарды огни, освещая молодые лица, разгоряченные вдохновением, поглощенные «тихой ночной беседой соотечественников».[101] Только там с верой, восторгом и надеждой вырвется на простор песня «Еще Польша не погибла…»[102]

А по мнению вельможных панов Г., З., С. и других – это предатели родины, и о них не следует говорить здесь, в обители истинного патриотизма, который покоится на союзе с захватчиками, чурается слова «Польша», который весь – порождение изысканного ничтожества и утонченной глупости…

3 февраля 1889 г. Мне бы не хотелось подвергать осмеянию окружающих меня людей, но, даже питая к ним некоторое расположение, я все же иногда не в силах преодолеть своего отвращения. Стремясь как-то встряхнуть, оживить ум панны Луции и пана Яна, я давал им на уроках читать «Пана Тадеуша». Прочла панна Луция при мне всю поэму и, кончив, с облегчением вздохнула: ужасно скучная вещь этот «Пан Тадеуш».

Пан Ян, принимаясь за третью книгу, с самым невозмутимым видом спросил меня:

– Пан Стефан, скажите, пожалуйста, было ли на самом деле все так, как он здесь пишет, или он это выдумал?

Видите, сколько пользы от обучения пана Яна истории литературы. Ему 22 года от роду, и папа надеется, что жена принесет ему в приданое не меньше 50 тысяч рублей. Ну и вопросы же задает мне иногда на уроках пан Ян… Читает он, например, а вернее, мучает «Пана Тадеуша» и вдруг обрывает на полуслове:

– Пан Стефан, что мне купить в Варшаве – штуцер или патронташ?

Бывают натуры, которые не воспринимают, не любят поэзии, – это можно понять, но я не могу представить себе поляка, который, читая в первый раз «Пана Тадеуша», не воодушевился бы, не почувствовал бы себя хоть раз в жизни свободным, не ощутил бы уз, связывающих его с народом. Я видел двенадцатилетнего Стася Юзефовича, который до самозабвения зачитывался этой книгой; видел однажды на галерке в Большом

театре двух юношей евреев из Налевок,[103] которые в антрактах читали «Пана Тадеуша», и, прислушиваясь к их замечаниям, я увидел, что они сто понимают. Помню, сколько восторгов вызвал у меня «Пан Тадеуш», когда я учился у пана Стаховского в начальной школе деревни Псары. С любовью вспоминаю я иллюстрированное парижское издание, по которому я учился читать, сидя у ног матери. Это – воздух, это – ключевая вода, это – дыхание здоровых легких, это – «центр польщизны»,[104] это – библия и камень на нашей могиле, оттуда все мы берем начало. Есть там такие выражения, такие слова и фразы, которых я не могу читать и слушать без слез, и тот, кто их не понимает, тог ничего не стоит. Эта книга – мерило человека. Смотри, как человек ее читает, и узнаешь, кто он.

Пан Ян читает сцену в комнате Судьи, когда Робак. уговаривает Судью поднять восстание на Литве.

> Наш Юзеф, наш Домбровский, с орлом белым флаги… [105]

Судья бросается ему на шею.

– Не понимаю, – обращается ко мне пан Ян, – чему они так радуются?

– Робак рассказывает Судье, что в скором времени польские войска под водительством Наполеона вступят в Литву.

– Ого, значит это они войне так радуются?

– Так ведь эта война должна была вернуть стране свободу.

– Ну, хорошо. А этот Судья, зачем ему было поднимать восстание?

– Вы же читали, что говорил Робак: восстание должно было содействовать победе Наполеона над русскими.

– Эх, оба они дураки! Да и это последнее восстание,[106] разве оно не было свинством? Сами посудите, пан Стефан, пошли как бараны с одностволками против винтовок.

11 февраля 1889 г. Моего нового ученика зовут Сташек Гура. Ему одиннадцать лет, у него светлый чуб, смазанный салом по случаю первого урока, бурый зипунишко, ситцевая рубашка, сапоги с подковками, красная шапочка. «Гарный хлопец!» Несколько дней тому назад пришел ко мне его отец, Михал Гура, и попросил, чтобы я взялся учить его сына. Мальчик очень способный, память у него хорошая, только пишет вкривь и вкось, потому что руки у него уже огрубели от работы и отморожены. Читает он по складам, по-мужицки, но «до книжки большой охотник…» Может быть, занятия с этим мальчиком рассеют

чувство горечи, которое овладевает мной при виде «предводителей» нашей нации. Попытаюсь отвлечься. Всеми силами души хочу помочь Сташеку стать образованным крестьянином. К счастью, мальчик умен, понятлив, способен и смел. Я буду счастлив, если просвещу одного из них, поверю в народ.

О просвещение! Приди, откройся народу, спаси нас… Я верю в тебя, верю, что, познав тебя, народ будет чтить Костюшко и Сташица, Мицкевича и Ежа,[107] верю, что он отплатит отчизне-мачехе сыновней любовью, верю, что в нем наше спасенье, верю изверившейся, измученной душой, истерзанной подлостью шляхты.

Я составлю себе целый план обучения моего Сташека. Хотелось бы не отклоняться от наших варшавских планов, но у меня нет книг, которыми я пользовался в Варшаве, когда давал бесплатные уроки.

Какое наслаждение делать добро отечеству, обучая крестьянского мальчика! Представляю себе, как высмеют меня этот завзятый остряк пан Я. и самодовольная пани З. Horribile dictu.[108] Зато я завоюю дружбу Михала Гуры, он узнает меня и поверит мне. Как хорошо мне будет говорить с ним, как с братом, откровенно, без лицемерия с его стороны. До Сухчиц недалеко, летом смогу бывать там ежедневно, а сейчас это трудно…

25 февраля 18S9 г. Постепенно, таясь от самого себя, я соглашаюсь с принципами, против которых раньше боролся. Никогда я не признаюсь в этом явно, потому что эти принципы ставят под сомнение то, что мне дороже всего на свете, даже значение нашей созданной в неволе цивилизации. Что со мной происходит, почему я меняюсь – не знаю. Причина не в книгах, не в воздействии чьих-либо убеждений, теории или статистики, причина кроется в том, что я теряю почву под ногами, что мне не на что опереться. Не раз, размышляя до поздней ночи, я перебирал все доводы, какими когда-то защищался в Варшаве, и ясно вижу, что это были плохие аргументы, что мои противники были правы, хотя и говорили наобум. Меня убеждает в их правоте жизнь, которую я наблюдаю своими глазами. Мне казалось тогда, что «различие интересов» – это пустая фраза, а теперь я никогда не стану утверждать, что «общность интересов» это та идея, ради которой стоит жить и умереть. Да, именно это и есть фразерство. Крестьяне способны на многое, шляхта – ни на что. Уж больше не причиняют мне боли, не приводят в бешенство суждения этих людей, я их не записываю, – настолько они ничтожны. Возможно, что аристократия никогда не исчезнет, как утверждает пан З. Но

наша аристократия для народа, для духа времени вредна, и… нужно, наконец, сказать открыто эти страшные слова, слова боли и сожаления – роль ее в жизни народа, в истории Польши такова же, что и роль царизма. Еж, Еж, старый наш отец, до чего же мы дожили! Ты неправду сказал, что «с польской шляхтой – польский народ»… Твои иллюзии порождены были любовью к родине, которую любим и мы, – и ради этой любви ты поверил в ложь «слияния шляхты с народом» – и нас, верящих в тебя, повел за собой… А куда мы пришли? Теперь или стать социалистом, или запить – нет на этой земле иных путей. Разве только закрыть на все глаза и вслед за Сенкевичем пойти «воодушевлять сердца». Какие сердца, чьи? Кто тут жаждет воодушевления, кто не проклинает имени родины, кто ею живет? Последовать Прусу, поверившему в нечто еще более уродливое, чем социализм, – в свободно конкурирующий политический либерализм, в создание капитала, с помощью которого можно облагодетельствовать массы милостыней архиволшебных господ Вокульских?[109] Ах, довольно…

6 апреля 1889 г. Почему мне так грустно среди этих людей, почему я возвращаюсь в свою комнату с такой непередаваемой горечью в сердце? Ведь я уже примирился с мыслью, что попытки «воздействовать» на них абсурдны, что надо махнуть на них рукой. Честный человек не должен судьбу народа ставить в зависимость от сострадательности шляхтича, народу полагается вознаграждение за все, что он перенес, и вознаградить его может не эволюция, о которой мечтает Еж, а только социальная революция.

29 апреля 1889 г. Мне уже опротивело гнилое филистерство «высших классов», я привык к мысли, что все это надо оставить status quo ante.[110] Я иду туда, где существует непознанное разнообразие, вечно изменяющаяся жизнь, влекущий, неизведанный мир – к народу! И как человек и как художник я нахожу здесь все, чего ищу: красоту, волнующие сердце факты, удовлетворяю свою любознательность. Люблю тебя, великий простой народ, с мольбой склоняюсь к твоим стопам, чтобы ты понял таких как я, и когда мы сойдем в могилу, помянул бы нас добрым словом.

Комментарии

Публикуемые в настоящем томе избранные места из дневников Жеромского составлены по изданным в Польше в трех томах дневникам писателя. Жеромский вел дневник в молодости на протяжении ряда лет (1882–1891). Всего дневник насчитывал 21 тетрадь, 6 из которых не сохранились. Дважды дневник терялся – первый раз при жизни писателя в его родном городе Кельцы и второй раз во время войны: рукопись дневника была вывезена гитлеровцами из Национальной библиотеки в Варшаве, где хранилась после смерти писателя. Позднее дневники Жеромского были разысканы в Австрии советской репатриационной комиссией и в 1945 году возвращены в Польшу, где впервые опубликованы.

В дневнике, охватывающем почти десятилетие жизни писателя, отразилась напряженная, духовно насыщенная жизнь молодого Жеромского. Из всего многообъемного и чрезвычайно интересного по содержанию материала дневников в настоящем разделе представлены лишь некоторые записи, в которых, как правило, затронуты проблемы, наиболее сильно волновавшие Жеромского. Дневниковые записи поражают своим разнообразием: здесь и подробнейшая хроника повседневных событий, и отношение Жеромского к явлениям общественной жизни страны, мысли и чувства, вызванные горячим желанием найти свое место в освободительной борьбе народа, раздумья о задачах и общественной роли искусства, впечатления от прочитанных книг, посещений театров, музеев. В то же время дневник является как бы рабочей тетрадью, в которой Жеромский делает выписки из художественной и политической литературы, куда вносит планы, иногда наброски будущих произведений.

Перевод выполнен по польскому изданию: Стефан Жеромский, Дневники (т. I 1882–1886 гг., Варшава, 1953; т. II 1886–1887 гг., Варшава, 1954; т. III 1888–1891 гг., Варшава, 1956). Имеющиеся в этом издании подробные комментарии Е. Кондзели частично использованы при составлении примечаний.

notes

Примечания

1

Бем Антоний Густав (1848–1902) – польский литературный критик позитивистского направления и педагог, автор известных учебников польской грамматики и теории польской поэзии. Долгое время жил в Кельцах, где в 1879–1888 гг. преподавал польский язык, историю и древние языки в мужской гимназии. Был учителем Жеромского, руководил первыми литературными опытами будущего писателя, читал и поправлял его юношеские произведения. Бем подсказал Жеромскому мысль писать дневник.
Эдек, Галик (Эдвард Лушкевич и Вацлав Галик) – гимназические товарищи Жеромского.

2

«Орсо» и *«За хлебом»* – рассказы знаменитого польского писателя Генрика Сенкевича (1846–1916), опубликованные в 1880 г.

3

Жеромский в гимназические годы очень много писал (в дневнике за 1882–1886 гг. можно насчитать около 80 названий его юношеских произведений, – написанных «на школьной скамье, а вернее – под ней», – эпопей, драм, трагедий и романов). Произведения эти не сохранились, за исключением нескольких стихотворений, в том числе двух, напечатанных в 1882 г. в журналах («Песнь пахаря» и перевод лермонтовского «Желания»).

4

Карпинский Франтишек (1741–1825) – польский поэт эпохи Просвещения. Наибольшей известностью пользуются его сентиментальные идиллии («Филон и Лаура» и др.), основанные на фольклорных мотивах стилизованные народные песни («Песнь сокольского старика») и лирика религиозного содержания (молитва «Когда встают утренние зори» и др.).

5

Ян Кохановский (1530 – 1534Т – великий польский поэт. В творчестве Кохановского воплотились национальные особенности польского Возрождения. Заметное влияние на произведения Кохановского оказало народное творчество («Свентоянская песнь о Собутке», 1575, и др.).

6

Иокаи Мор (1825–1904) – венгерский писатель-романист. См. примечания к стр. 311 II тома настоящего издания.

7

Жеромский уже в младших классах гимназии вынужден был давать уроки, а после смерти отца (22 сентября 1883 г.) он репетиторством зарабатывает себе на жизнь.

8

«Стегенный» – название произведения, которое Жеромский в это время собирался писать. Стегенный Петр, ксендз (1800–1890) – польский революционер-демократ, в 1840–1844 гг. создал в Королевстве Польском тайную крестьянскую организацию для борьбы со шляхтой и иноземными угнетателями. Был арестован и сослан на каторгу в Сибирь.

9

Имеется в виду верноподданническая книга: Худзяк Матвей «Пребывание их императорских величеств в Привислинском крае в днях с 27 августа по 14 сентября 1884 г., рассказ народного учителя» (Варшава, 1885).

10

Венгерский Томаш Каетан (1755–1787) – известный польский сатирик, представитель наиболее радикального течения в польском Просвещении. В своих талантливых сатирах, баснях, в ироикомической поэме «Органы» (1784) зло бичует польскую аристократию и духовенство, всех тех, кто «мучает и угнетает бедняков».

11

Красинский Зыгмунт (1812–1859) – польский поэт-романтик, в его творчестве («Небожественная комедия», 1835; «Иридион», 1836; «Псалмы будущего», 1845) отразился страх польской аристократии перед народной революцией.

12

…ясных панов, магнатов, князей-прелатов… – реминисценция из посвященной восстанию 1830 г. песни польского поэта и революционера Густава Эренберга (1818–1895) «Шляхта в 1831 году» (известна также под названием «Когда народ за оружие взялся», опубликована анонимно, Париж, 1848 г.). Эта песня, призывающая к борьбе против помещиков, до конца XIX в. – до появления «Красного знамени» – была самой популярной в Польше революционной песней. Во время второй мировой войны и гитлеровской оккупации Польши – официальный гимн отрядов польского демократического движения сопротивления – Армии Людовой.

13

Известный датский литературный критик Георг *Брандес* (1842–1927) пользовался в то время в Польше большой популярностью Четвертый том его сочинения «Главные течения европейской литературы XIX века» был издан на польском языке в 1882–1885 гг.

14

Статья *«Пчелы»,* написана Д. И. Писаревым (1840–1868) в 1862 г. и впервые была опубликована в части 9 первого собрания сочинений Д. И. Писарева (СПб., изд. Ф. Павленкова, 1868–1869 гг.), которым Жеромский, по-видимому, и пользовался. Статья представляет собой острый политический памфлет в форме научно-популярного очерка о жизни пчелиного улья. Памфлет звучал актуально в обстановке русской общественной борьбы 60-х гг. и являлся характерным образцом революционно-демократической пропаганды того времени.

15

Тышинский Александр (1811–1880) – религиозный философ, профессор польской литературы в Варшавской Главной школе в 1866–1869 гг. *Хмелевский** Петр (1848–1904) – один из наиболее крупных польских литературоведов второй половины XIX в., написавший ряд капитальных трудов по истории польской литературы и критики («История польской литературы», т. 1–6, 1900; «История литературной критики в Польше», 1902 и др.).

16

Целый день мы были заняты выплатой денег работникам. – В конце июня 1885 г. Жеромский выехал на лето в Серадовицы – имение «знатного магната его округи», помещика Ксаверия Залевского (ср. запись от 20 июня 1885 г.), где и происходили описанные ниже события.

17

Строка из стихотворения Конопницкой «Крестьянское сердце» (цикл «Картинки», 1883).

Никлас – управляющий имением пана Залевского.

19

«Долой все титулы, князей и графов!..» – первая строка второй строфы известной повстанческой песни так называемого «Марша Мерославского», популярного во время восстания 1863 г.

20

В твою амнистию мы завернем свои пули… – строка из популярной повстанческой «Песни стрелков» (1863) польского поэта Владислава Людвика Анчица (1823–1883).

21

«Современное обозрение» – раздел в петербургском журнале «Дело».

22

Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) – известный русский публицист, философ, литературный критик. Друг Чернышевского, Добролюбова, Михайлова. В своих литературно-критических работах стоял на позициях эстетики революционных демократов. Статья Н. В. Шелгунова о Тургеневе, о которой пишет Жеромский – «Тяжелая утрата», – была напечатана в № 2 журнала «Дело» за 1870 г. (продолжение статьи – в № 6).

23

Жеромский с некоторыми сокращениями выписывает в дневнике отрывок из рассказа «Контора», приведенный в статье Шелгунова.

24

Жеромский цитирует статью Н. В. Шелгунова «Тяжелая утрата» («Дело», 1870, № 2, стр. 17).

25

Гроттгер Артур (1837–1867) – польский художник. Известные циклы его рисунков посвящены борьбе польского народа за национальное освобождение в восстании 1863 г. («Полония», «Война» и др.).

26

Действительность, вознесенная к прекрасной мечте *(нем.)*.

27

Эта запись, как и ряд следующих, относится к периоду пребывания Жеромского в Варшаве и его учебы в Высшей ветеринарной школе, куда он поступил осенью 1886 г.

28

Жеромский записывает в дневнике два отрывка из XIV главы романа Тургенева «Накануне». В отличие от предыдущих цитат из Тургенева, отрывок приведен в переводе на польский язык. Возможно, что Жеромский пользовался при этом изданным в 1874 г. в Познани переводом романа.

29

…друзья «могли бы сказать обо мне, что я ее любил»… – неточно приведенные слова Инсарова («Накануне», глава XIV), которые Жеромский неоднократно цитирует в своем дневнике.

30

Строка из стихотворения польской писательницы Нарцизы Жмиховской (1819–1876) «Счастье поэта» (1841).

31

В гимназические и студенческие годы Жеромский был признанным в кругу своих товарищей декламатором и часто выступал с чтением стихотворений Мицкевича, Словацкого и других поэтов.

32

Машина-декламатор *(нем.)*.

33

…последнее заклинание… – В качестве эпиграфа Жеромский приводит строки из стихотворения Ю. Словацкого «Мое завещание» (перевод Н. Асеева). Это стихотворение было написано поэтом в конце 1839 – начале 1840 г., то есть приблизительно за десять лет до смерти, и Жеромский ошибался, называя его «последним заклинанием» поэта.

34

В дневниковой записи от 18.XII 1886 г. Жеромский набросал литературный портрет польского поэта А. Асныка (1838–1897). Это был его второй «этюд»; первый (запись от 30.XI 1886 г.) посвящался А. Мицкевичу.

35

«Еженедельное обозрение» – общественно-политический и литературный журнал, основанный в Варшаве в 1866 г. и ставший ведущим органом варшавских позитивистов. Печатавшиеся в нем и в других журналах 'этого направления («Нива», «Домашний опекун», «Правда» и др.) публицисты повели атаку против романтической поэзии (статья редактора журнала А. Вислицкого «Горох об стену», 1867).

36

Жеромский ошибочно приписывает приведенный выше стихотворный отрывок Юлиану Охоровичу (1850–1917) – известному публицисту и ученому, видному идеологу варшавского позитивизма. В действительности эти строки принадлежат Адаму Асныку (стихотворение «Читатели к поэтам», 1869). Перевод Д. Самойлова.

37

«Convalius Convaliorum» – прозвище поэта Панталеона Квятковского, персонажа повести Ожешко «В клетке» (1870). Образ этого поэта, эпигона романтизма, нарисован писательницей в сатирических, карикатурных тонах.

38

Свентоховский Александр (1849–1938) – публицист позитивистского направления. В 1870–1878 гг. сотрудничал главным образом в «Еженедельном обозрении».

39

Аспис Богумил (1842–1898) – второстепенный польский поэт, эпигон романтизма. *Фаленский* Фелициан (1825–1910) – польский поэт, автор лирических стихотворений и драм, переводов (главным образом из древних и итальянских поэтов).

И им подобные *(итал)*.

41

…в «Колосьях», «Варшавских библиотеках», «Еженедельниках»… – то есть в журналах так называемого консервативного, шляхетского лагеря, который на первых порах в штыки принял новое позитивистское течение. Однако горячая вначале борьба «старых» с «молодыми» вскоре закончилась примирением: расхождения между ними в сущности никогда не были большими, поскольку позитивисты, являясь идеологами нарождающейся буржуазии, не стремились к изменению основ существующего строя.

42

«Вступление» – название стихотворения, которым открывается первый том стихотворений Конопницкой («Стихотворения», 1881); Жеромский цитирует конец стихотворения, за исключением пяти строк. Перевод Д. Самойлова.

43

Жеромский цитирует, опуская две строки, стихотворение Конопницкой «Отрывок» (цикл «Картинки», 1883). Перевод Д. Самойлова.

44

Девичья фамилия Конопницкой и год ее рождения указаны Жеромским неверно. Конопницкая родилась в 1842 г. в семье юриста Юзефа Василовского.

45

«Рассвет» – иллюстрированный журнал для женщин, основанный в 1884 г. варшавским издателем Левенталем. В течение двух лет Конопницкая, будучи главным редактором журнала, стремилась придать ему прогрессивное направление, но, не выдержав борьбы с издателем, вынуждена была выйти из редакции.

Жеромский пользовался, очевидно, первым изданием названной работы Хмелевского (1881), поскольку в издании втором (1886) автор посвящает Конопницкой несколько страниц, указывая на популярность ее стихотворений у современников.

47

Антоний Густав Бем (см. примечание 1) – переводил на польский язык «Историю польской литературы» Владимира Спасовича (1829–1906), известного петербургского юриста, литературного критика и политического деятеля. «История польской литературы» Спасовича являлась разделом книги А. Н. Пыпина «Обзор истории славянских литератур» (изд. второе, 1880).

Уейский Корнелий (1823–1897) – поэт-лирик, патриот и демократ. Его поэма «Марафон» (1847) воспевающая идеалы национально-освободительной борьбы, была одним из любимейших поэтических произведений молодого Жеромского, которое он часто декламировал.

49

6–9 строфы из стихотворения Конопницкой «Фрагменты», III (1883). Перевод Д. Самойлова.

Стихотворение Словацкого «К автору трех псалмов» («Ответ на «Псалмы будущего», 1845), опубликованное анонимно в 1848 г., было вызвано полемикой между демократическим и реакционным лагерями польской эмиграции во Франции, в которой З. Красинский выступил как идейный противник польской демократии. Отвечая на его «Псалмы будущего». Словацкий в этом своем стихотворении, являющемся вершиной его политической лирики, решительно защищает справедливость народной революции.

В стихотворении «Гробница Агамемнона» (1839) Словацкий, скорбя по поводу поражения национально-освободительного восстания 1830 г., обрушивает свой гнев на шляхту – виновницу поражения восстания.

51

«La république» Уейского – перевод стихотворения выдающегося немецкого поэта Фердинанда Фрейлиграга (1810–1876), написанного им на весть о февральской революции 1848 г.

52

Жеромский полностью цитирует стихотворение Конопницкой «На пороге» (1883). Перевод П. Железнова.

53

Строки из стихотворения Конопницкой «Перед богом» (1883). Перевод Д. Самойлова.

54

«Импровизация» Конрада – центральная сцена романтической драмы Мицкевича «Дзяды, часть III» (так называемые «дрезденские «Дзяды», 1832), в которой герой драмы «страдающий за миллионы» Конрад бросает вызов богу.

55

Отрывок из стихотворения Конопницкой «Молодым братьям» (1883). Перевод П. Железнова.

56

Строки из стихотворения Конопницкой «Без крова» (1881). Перевод П. Железнова.

57

Имеются в виду вышедшие в 1881 и 1883 гг. два тома «Стихотворений» Конопницкой.

58

Высоцкий Влодзимеж (1846–1894) – польский поэт, друг и единомышленник Элизы Ожешко. В творчестве Высоцкого, связанном с жизнью украинского крестьянства, выделяются сатиры на шляхту и духовенство («Все за одного», 1882; «Новые Дзяды», 1884; «Сатиры и сказки», 1894).

59

Но издавна, знаю… – строки из стихотворения М. Конопницкой «С колядой» (цикл «Картинки», 1883).

Жеромский имеет в виду вторую часть романтической драмы Мицкевича «Дзяды» (Вильно, 1823), в которой поэт использует народные белорусские обряды и верования.

61

Стихотворение Конопницкой из цикла «С полей и лесов» (1883). Перевод Д. Самойлова.

Быть или не быть (англ.).

63

«Белыми» назывались сторонники сыгравшей предательскую роль в восстании 1863 г. аристократической партии; «здравомыслящими» писатель иронически именует позитивистов.

Одним из проявлений угнетательского ассимиляторского режима, установленного в Польше царским самодержавием, было насильственное и сопровождаемое жестокими репрессиями обращение в православие крестьян-униатов.

65

Жеромский верно указывает на близость стихотворений Конопницкой («Рассказ раненого», 1881, и «Мужицкое сердце», 1883) рисункам Артура Гроттгера (см. примечание к стр. 419). Упоминаемые Жеромским ниже картины Гроттгера относятся к циклу «Война» («Предчувствия» нет в этом цикле, и, говоря о нем, Жеромский имеет, очевидно, в виду картон «Комета»).

Сырокомля Владислав – псевдоним известного польского поэта-демократа Людвика Кондратовича (1823–1862). Горячий поборник освобождения крестьян от крепостной зависимости, Сырокомля в своих многочисленных и разнообразных по форма произведениях (песни, думы, лирические стихотворения, поэмы, эпиграммы) правдиво нарисовал жизнь польской деревни и тяжелую долю крепостного холопа. Многие стихотворения Сырокомли стали народными песнями («Почтальон», 1844, и др.), Сырокомле принадлежит также ряд переводов русских и украинских поэтов (Лермонтова, Некрасова, Шевченко).

67

Отрывок из стихотворения Конопницкой из цикла «Издалека» (1883). Перевод В. Журавлева.

68

Стихотворение из цикла «Издалека», цитируемое Жеромским без предпоследней строфы. Перевод Д. Самойлова.

69

«К границе» – стихотворение Конопницкой, написано по поводу возмутившего общественное мнение в Польше выселения прусскими властями польских крестьян в Познанском воеводстве (1885).

Ленартович Теофиль (1822–1893) – поэт-лирик, воспевший в своих идиллиях природу и жизнь крестьян Мазовша (сб. «Лира», 1885, и др.).

71

Первые две строки из стихотворения Конопницкой «Молодым братьям» (1883). Перевод П. Железнова.

72

«Форпост» (1885) – повесть из крестьянской жизни Болеслава Пруса (1845–1912), одного из любимейших писателей Жеромского.

73

Слова из евангелия (VI глава от Матфея), высеченные в костеле Св. Кресга в Варшаве, где похоронено сердце Шопена.

74

В июне 1887 г. в Кракове в ознаменование открытия Collegium novum – нового здания, построенного для юридического факультета Ягеллонского университета, – были выданы почетные дипломы докторов философии, медицины и права ряду ученых.

75

Еж Теодор Томаш – литературный псевдоним Зыгмунта Милковского (1824–1915), известного польского деятеля национально-освободительного движения, участника венгерской революции 1848 г., члена Централизации «Демократического общества» – руководящего органа прогрессивной польской эмиграции 30 – 50-х гг. XIX в. Большой популярностью пользовались его многочисленные романы, воспевавшие борьбу славян и балканских народов за национальное и социальное раскрепощение («Василь Голубь», «На рассвете», «Шандор Ковач» и др.).

Еж пользовался большой популярностью среди польской молодежи. В 1886 и 1887 гг. варшавские студенты по случаю годовщины основания «Демократического общества» посылали Ежу многочисленные адреса, приветствуя его как патриарха национально-освободительного движения.

76

В 1887 г. студенты Сельскохозяйственного и Лесного институтов в Пулавах объявили конкурс на тему: «Как улучшить быт служащих, занятых в сельском хозяйстве». Болеслав Прус в своих «Еженедельных хрониках» («Варшавский Курьер», 6 февраля 1887 г.) отрицательно отнесся к этому начинанию.

77

Речь идет о хронике, написанной Прусом для № 93 «Варшавского Курьера» (от 3 апреля 1887 г.), в которой проявилась свойственная ему вера в программу малых дел. В ответ на появившиеся в печати возражения («Варшавский Курьер», № 101 от 13 апреля 1887 г.), Прус вторично обосновал свою прежнюю позицию в хронике от 15 апреля («Варшавский Курьер», № 103).

78

…«А может, боже, с *панами ты советуешься…»* – перефразированная цитата из написанного в Оренбурге в 1850 г. стихотворения Т. Г. Шевченко «Когда б вы знали, барчуки»:

Ты, может, сам на небеси
Смеешься, господи, над нами
Да совещаешься с панами,
Как править миром?

(Перевод А. Дейча)

Вторую половину этого стихотворения на украинском языке Жеромский выписывает в дневнике перед записью от 4 марта 1888 г.

Жеромскому, который очень нуждался в студенческие годы и охотно брался за любой заработок, часто приходилось долго ждать гонорара за выполненную работу (перевод на польский язык курса геометрии, разделов из собрания сочинений В. С. Соловьева).

80

Речь идет о жене крупного магната Мартина Хростяк-Попеля. В его имении Курозвенках (Келецкая губерния) Жеромский жил с июля по октябрь 1888 г. в гостях у своего двоюродного брата Юзефа Саского, управляющего этим имением. Называя Попеля «станьчиком», Жеромский подчеркивает этим его принадлежность к крайне реакционной части польского дворянства («станьчиками» назывались сторонники преданной австрийскому двору консервативной и клерикальной партии галицийской аристократии).

81

С молодым филаретом… – так Жеромский называет сына Мартина Хростяк-Попеля, Павла Попеля, который был студентом Ягеллонского университета в Кракове и членом «Братства филаретов» – студенческой организации, объединявшей студентов преимущественно аристократического происхождения.

82

…*«С польской шляхтой польский народ»*… – слова из стихотворения польского поэта З. Красинского «Псалмы будущего» (1845). Жеромский отвергает провозглашенную в этом произведении идею единения польской нации под водительством шляхты.

83

Солтык Роман (1791–1843) – польский политический деятель, в 1808–1813 гг. – артиллерийский офицер. В войне 1809 г. – капитан конной батареи, в 1812 г. – адъютант генерала Сокольницкого. В дальнейшем, в Королевстве Польском, посол в сейме, деятель тайного «Патриотического общества», участник восстания 1830–1831 гг.

Жеромский приводит эту цитату из «Литературного обозрения» (приложение к издававшемуся в Петербурге на польском языке журналу «Край», № 19 за 1887 г.), где был напечатан текст лекции Георга Брандеса «Действительность в романах Золя», прочитанной им в Петербурге.

85

Жеромский неточно цитирует предисловие Эдмунда Гонкура к французскому изданию 1882 г. романа «Фостэн».

«Вестник», «Мы» – названия задуманных Жеромским романов, которые не были написаны.

87

«Слово» – журнал, издававшийся в Варшаве. С 1882 г. его редактировал Г. Сенкевич. В 1884–1886 гг. а «Слове» печаталась вторая часть исторической трилогии Сенкевича – роман «Потоп».

88

Жеромский имеет в виду печатавшуюся в «Литературном обозрении» (приложение к журналу «Край» № 38, 39, 40 за 1888 г.) статью Ю. Токажевича «Мопассан о современном романе».

89

«Пан Тадеуш» – «Пан Тадеуш, или последний наезд на Литве» (1834) – знаменитая эпическая поэма А. Мицкевича.

90

«Кто-то», «В Полесье» – повести из крестьянской жизни известного польского писателя Ю. И. Крашевского (1812–1887), изданные в 1884 г.

91

Костшевский Франтишек (1826–1911) – польский художник, реалистически изображавший польскую природу («Перед бурей», «Пожар в деревне», «Ландшафт» и др.).

В романе «Беспомощные» (1884) проявилась свойственная Ежу в эти годы тенденция к затушевыванию классовых противоречий во имя так называемого общего национального дела, вера в общественную миссию патриотически настроенной части шляхты, требование от шляхты «единения», «слияния» с народом. Эти идеи Еж развивает также в своей известной и очень популярной в свое время среди студенчества политической брошюре «Речь об активной обороне и национальном фонде» (1887). Жеромский, который вначале восторженно отнесся к этой брошюре, назвав ее «Манифестом президента раздробленной Речи Посполитой», вскоре начинает понимать «огромную ошибку» Ежа (Дневники, запись от 19. VII 1888 г.), выражает несогласие с проводимой в брошюре идеей национальной солидарности.

93

…пан Ян… – Ян Заборовский, ученик Жеромского, сын помещика Густава Заборовского. Жеромский был учителем в доме Заборовских в Олеснице (Келецкая губерния, Стопницкий повят) с ноября 1888 г. до сентября 1889 г.

Жеромский называет здесь ряд деятелей национально-освободительного движения: *Костюшко* Тадеуш (1746–1817) – вождь восстания 1794 г.; *Завиша* Артур (1808 – 183.3) – польский патриот, участник восстания 1830 г. В 1833 г. принимает участие в так называемой «экспедиции Заливского», целью которой было поднять новое восстание в Польше. Во главе партизанского отряда сражается с царскими войсками. Был взят в плен и повешен. *Конарский* Шимон (1808–1839) – один из руководителей демократических тайных организаций «Молодая Польша» и «Содружество польского народа», расстрелян царскими жандармами; *Левиту* Кароль (1810–1841) – создатель молодежной патриотической организации, покончил жизнь самоубийством в тюрьме; *Мицкевич* Адам (1798–1855) – великий польский поэт и революционер. В 30–40 гг. организует в эмиграции в Париже издание журналов «Польский пилигрим» и «Трибуна народов», в которых выступает как сторонник коренного изменения общественного строя, глашатай революционного союза народов и непримиримый борец за свободу родины.

95

…имена разных «бельведерцев»… – то есть имена членов тайного общества, которые во главе с Людвиком Набеляком и Северином Гощинским напали вечером 29 ноября 1830 г. на Бельведерский дворец – резиденцию великого князя Константина. Атака на Бельведер, которую вскоре поддержали учащиеся находившейся вблизи офицерской школы подхорунжих, явилась сигналом к началу восстания 1830 г.

96

Жеромский цитирует здесь первые строки из стихотворения польского поэта Винцентия Поля (1807–1872) «Первая годовщина 29 ноября». Перевод Д. Самойлова.

97

…в эту грустную годовщину… – то есть в годовщину начала восстания 1863 г. (22 января 1863 г. был опубликован призывающий всех граждан к оружию манифест Центрального Национального Комитета).

98

Речь идет о жертвах расстрела царскими войсками демонстрации, состоявшейся в Варшаве 27 февраля 1861 г. Последовавшие вскоре похороны пяти убитых превратились в грандиозную патриотическую манифестацию.

99

Реминисценция из стихотворения А. Мицкевича «Редут Ордона» (1832).

100

Реминисценция из стихотворения Ю. Словацкого «Мое завещание» (конец 1839 – начало 1840).

101

Реминисценция из стихотворения А. Мицкевича «Матери-польке» (1830).

102

…песня *«Еще Польша не погибла…»* – называемая также «Мазуркой Домбровского» (1797) – известный марш польских легионеров (слова Юзефа Выбицкого, музыка Михала Огинского). Со времен восстания 1831 г. – национальный гимн. Сейчас – государственный гимн Польской Народной республики.

103

Налевки – район в старой Варшаве, населенный еврейской беднотой.

104

…*«центр польщизны»*… – так в книге седьмой эпопеи «Пан Тадеуш» Мицкевич называет имение старого Судьи Соплицово, в котором развертывается действие поэмы.

105

Наш Юзеф, наш Домбровский… – цитата из шестой книги «Пана Тадеуша». Князь Юзеф Понятовский (1763–1813) – главнокомандующий войсками Княжества Варшавского; генерал Ян Генрик Домбровский (1755–1818) – видный деятель национально-освободительного движения, создатель польских легионов.

106

…*это последнее восстание*… – то есть восстание 1863 г.

107

Жеромский называет наиболее дорогие ему имена деятелей польского освободительного движения, представителей передовой общественной мысли. *Сташиц* Станислав (1755–1826) – польский публицист и политический деятель, борец против шляхетской анархии, выступавший за раскрепощение крестьян («Размышления над жизнью Яна Замойского», 1785; «Предостережения Польше», 1790, и др.).

Страшно сказать *(лат.)*.

109

Жеромский имеет в виду героя романа Б. Пруса «Кукла» (1887–1889) Станислава Вокульского. В образе этого крупного финансиста в богача, страдающего от сознания существующей несправедливости и занимающегося филантропией, с наибольшей силой проявилась противоречивость романа.

Существующее положение *(лат.)*.